



ТОМАС

МАНН

ЛОТТА В ВЕЙМАРЕ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Томас Манн
Лотта в Веймаре

«Издательство АСТ»

1939

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Манн Т.

Лотта в Веймаре / Т. Манн — «Издательство АСТ»,
1939 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-156814-6

«Лотта в Веймаре» – изящный и увлекательный роман великого Томаса Манна, в котором глубокие размышления о человеке искусства, о его нередко болезненном существовании в реальном мире и о подлинном смысле жизни тесно переплетаются с интересным и немного ироничным сюжетом – встречей в Веймаре уже немолодого и прославленного Гете со своей бывшей возлюбленной... Была ли эта встреча в реальности? И если да – то какой она была? Неизвестно. Но в романе Томаса Манна правда искусства важнее правды истории.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-156814-6

© Манн Т., 1939

© Издательство АСТ, 1939

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	22
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Томас Манн

Лотта в Веймаре

*Сквозь рев и гром рожков
Наш голос смелый
Опять взнестись готов
В твои пределы.
В твоих мирах живя,
Душа беспечна.
Будь жизнь долга твоя,
Держава – вечна!*

(«Западно-восточный диван»)

Thomas Mann
LOTTE IN WIEMAR
Originally published as «Lotte in Weimar»

© Bermann-Fischer Verlag AB, Stockholm, 1939
© Renewed by Katia Mann, 1967
© Перевод. Н. Ман, наследники, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Глава первая

Магер, коридорный веймарской Гостиницы Слона, человек весьма начитанный, однажды в погожий сентябрьский день 1816 года пережил волнующее и радостное событие. Хотя, казалось бы, ничего из ряда вон выходящего не случилось, ему на мгновение все же почудилось, что он грезит.

В этот день около восьми утра с почтовым дилижансом из Готы, остановившимся у заслуженно известного заведения на Рыночной площади, прибыли три женщины, в которых на первый взгляд – да, пожалуй, и на второй – не было ничего особенного. Их отношения друг к другу определялись без труда. Это были мать, дочь и служанка. Магер, уже приготовившийся к приветственным поклонам, стоял у сводчатого входа и смотрел, как привратник высаживал двух первых из кареты, в то время как служанка, по имени Клерхен, прощалась с почтальоном, за долгий путь, как видно, пришедшимся ей по вкусу. Тот, искоса поглядывая на нее, улыбался – вероятно, при воспоминании о своеобразном наречии, на котором болтала путешественница, – и с насмешливым вниманием следил, как она, кокетливо изгибаясь и не без жеманства подбирая юбки, слезала с высоких козел. Вслед за тем он дернул шнур от болтавшегося у него за спиной почтового рожка и весьма выразительно затрубил на потеху мальчишкам да нескольким ранним прохожим.

Дамы все еще стояли спиной к подъезду, наблюдая, как отвязывают их скромный багаж. Магер, в своем черном, наглухо застегнутом фраке и высоком стоячем воротничке, повязанном линялым галстуком, ждал, покуда, уверившись в сохранности своих пожитков, они не направятся к двери. Тут он поспешил им навстречу, семеня длинными ногами в узких обтягивающих панталонах, и склонился перед ними с видом заправского дипломата, причем на его сырного цвета лице, обрамленном рыжими бакенбардами, заиграла обязательнейшая улыбка.

– Здравствуйте, друг мой, – произнесла старшая из женщин, довольно полная дама лет под шестьдесят – не менее, в белом платье, с черной шалью, накинутой на плечи, в нитяных митенках и высоком чепце, из-под которого выбивались пепельно-серые вьющиеся волосы, некогда бывшие золотистыми. – Нам нужно помещение для троих; комната для меня и моей дочки (дочка тоже была не первой молодости, лет около тридцати, с каштановыми буклями и в платье с рюшем вокруг шеи, изящный носик матери повторился у нее более остро и резко очерченный) и комнатка неподалеку для нашей горничной. Можем ли мы на это рассчитывать?

Голубые, чуть выпцветшие глаза старой женщины смотрели мимо Магера на фасад гостиницы. Ее маленький рот на лице, уже немного по-старчески ожиревшем, двигался как-то особенно приятно. В юности она, вероятно, была прелестнее, нежели сейчас ее дочь. При взгляде на нее бросалось в глаза легкое дрожание головы, впрочем, больше походившее на подтверждение ее слов или торопливый призыв согласиться с ними, отчего оно казалось следствием не столько слабости, сколько живости характера или хотя бы того и другого в равной мере.

– Рад служить, – отвечал Магер, ведя мать и дочь к дому, в то время как горничная со шляпной картонкой в руках следовала за ними на почтительном расстоянии. – Правда, у нас, как всегда, множество постояльцев и вскоре нам, вероятно, придется отказывать даже весьма уважаемым особам, но все же, смею заверить, мы, не щадя своих сил, пойдем навстречу желаниям досточтимых путешественниц.

– Ну, вот и отлично, – заметила приезжая, обменявшись с дочерью живым и многозначительным взглядом по поводу столь красноречивой тирады, к тому же произнесенной с сильным тюринго-саксонским акцентом.

– Милости просим, пожалуйста, – говорил Магер, с поклонами пропуская их в дверь. – Приемная направо. Фрау Эльменрейх, хозяйка заведения, будет в восторге, – прошу пожаловать.

Фрау Эльменрейх, дама со стрелой в причёске, и пышным бюстом, обтянутым душегрейкой «по случаю близости входной двери», восседала среди перьев, песочниц, счетов, за стойкой, отделявшей сводчатую приемную от сеней. Тут же рядом, возле высокой конторки, письмоводитель беседовал по-английски с господином в плаще, по-видимому владельцем нагроможденных у входа чемоданов. Хозяйка, флегматически взглянув скорее поверх приезжих, чем на них, ответила величавым кивком головы на приветствие старшей дамы и чуть намеченный книксен младшей. Затем внимательно выслушала переданные ей коридорным пожелания новоприбывших, достала вычерченный план и начала водить по нему кончиком карандаша.

– Двадцать седьмой, – постановила она, обращаясь к облаченному в зеленый фартук служителю, который стоял с вещами новых постояльцев. – Отдельную комнатку горничной я, к сожалению, предоставить не могу. Мамзели придется разделить помещение с камеристкой графини Лариш из Эрфурта. У нас сейчас много гостей с собственной прислугой.

Клерхен состроила гримаску за спиной своей госпожи, но та немедленно согласилась. «Как-нибудь стерпятся», – решила она и, распорядившись, чтобы в предоставленную ей комнату тотчас был перенесен ручной багаж, направилась к выходу.

– Еще минутку, сударыня! – воскликнул Магер. – Осмелюсь попросить вас об одной формальности. Дело в том, что мы имеем обыкновение всеми правдами и неправдами вымаливать себе две-три строчки. Этот докучный обычай заведен не нами, а Святой Германдадой, его же не преступишь. Законы и обычаи передаются из рода в род, я бы сказал, как наследственная болезнь. Смей ли мы надеяться на милость и снисхождение?

Дама улыбнулась, снова взглянув на дочь, и, едва сдерживая смех, покачала головой.

– Ну конечно! Я совсем упустила из виду. Что положено, то положено. Он умный малый, как я замечаю (она пользовалась обращением в третьем лице, принятом во времена ее юности), начитанный и просвещенный. – И, воротившись к столу, она взялась тонкими пальцами своей полуприкрытой руки за висевший на шнурке мелок, который ей вручила хозяйка, и, все еще смеясь, склонилась над доской с именами постояльцев.

Она писала медленно, постепенно переставая смеяться, и только легкие, как вздохи, шаловливые отголоски смеха еще свидетельствовали о ее потухавшей веселости. Частое дрожание головы стало при этом – может быть, вследствие неудобного положения – несколько более заметным.

На нее смотрели. С одной стороны – дочь, подняв красивые ровные брови (она их унаследовала от матери) и насмешливо поджав губки, заглядывала ей через плечо; с другой – на нее уставился Магер, отчасти чтобы наблюдать, правильно ли она заполняет отмеченные красным рубрики, отчасти же из провинциального любопытства, не чуждого злорадному удовлетворению, что вот для кого-то пришло время, расставшись со всегда благодарной ролью неизвестного, назвать и разоблачить себя. По каким-то причинам письмоводитель и английский путешественник прекратили разговор и тоже наблюдали за склоненной женщиной, выводившей буквы с почти детской тщательностью.

Магер прочитал, прищурившись: «Вдова надворного советника Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф, из Ганновера, последнее местопребывание – Гослар; родилась 11 января 1753 года в Вецларе. С дочерью и прислугой».

– Этого достаточно? – осведомилась надворная советница; и так как ей сразу не ответили, заключила сама: – Конечно, достаточно. – Она сделала энергичное движение, чтобы положить мелок на стол, позабыв, что он прикреплен к металлической подставке, и опрокинула ее.

– Какая неловкость! – воскликнула она, краснея, и снова быстро глянула на дочь; та насмешливо скривила рот и потупилась. – Ну, это дело поправимое, сейчас все будет в порядке. А теперь нам пора посмотреть комнату! – И советница поспешно двинулась к двери.

Дочь, горничная, Магер и плешивый привратник, нагруженный чемоданами и дорожными мешками, последовали за нею через сени к лестнице. Магер всю дорогу только и делал, что шурился, а в перерывах быстро-быстро мигал покрасневшими глазами и пустым взглядом уставлялся в пространство, открывая при этом рот с видом если не глуповатым, то мечтательно-задумчивым. На площадке второго этажа он заставил всех остановиться.

– Прошу прощения! – воскликнул он. – Умоляю великодушно простить, если мой вопрос – это не просто неуместное любопытство... Ужели мы имеем честь видеть в наших стенах госпожу надворную советницу Кестнер, мадам Шарлотту Кестнер, рожденную Буфф из Вецлара?..

– Да, это я, – с улыбкой подтвердила старая дама.

– Я имею в виду... прошу прощения... Неужто же речь идет о Шарлотте – короче, *Lotte Kestner*, рожденной Буфф из Немецкого дома, Немецкого орденового дома в Вецларе, бывшей...

– Именно о ней, любезный. Но я совсем не бывшая, а вполне настоящая и очень бы хотела поскорей попасть в отведенную мне...

– Незамедлительно! – вскричал Магер и, наклонив голову, уже принял было позу бегущего человека, но вдруг остановился, словно приросши к месту, и всплеснул руками.

– Господи боже ты мой! – проговорил он с глубоким чувством. – Господи боже ты мой! Госпожа советница! Да простит меня госпожа советница за то, что мне не сразу удалось установить это тождество и обнять взором все открывающиеся перспективы... Ведь это, можно сказать... гром среди ясного неба. Значит, нашему дому выпала высокая честь и неоценимое счастье... принимать... настоящую... подлинную... прообраз, если дозволено так выразиться... Короче говоря, мне суждено... сейчас... перед Вертеровой Лоттой...

– Вы не ошиблись, друг мой, – со спокойным достоинством отвечала советница, попутно бросив строгий взгляд на хихикающую горничную. – И если это послужит для вас лишним поводом поскорее проводить нас, усталых женщин, в нашу комнату, то я буду искренне рада.

– В мгновение ока! – крикнул Магер и припустился по лестнице. – Комната номер двадцать семь. Бог ты мой, ведь она на втором этаже! У нас, сударыня, удобные лестницы, как вы можете убедиться, но если бы мы знали... Несмотря на обилие гостей, без сомнения, нашлась бы... Во всяком случае, комната недурна, окна выходят на Рыночную площадь; надо думать, она придется по вкусу... В ней проживали недавно господин майор Эглоффштейн с супругой, приезжавшие с визитом к тетушке, обер-камергерше той же фамилии. В октябре тринадцатого года там останавливался генерал-адъютант его императорского высочества великого князя Константина. Это, так сказать, воспоминания исторические. Ах, боже ты мой, что я там болтаю об исторических воспоминаниях! Для чувствительного сердца они не могут идти ни в какое сравнение... Еще только несколько шагов, сударыня! От площадки несколько шагов вот по этому коридору. Все стены, как изволите видеть, свежевыбелены. После постоя донских казаков в тринадцатом году нам пришлось все тщательно ремонтировать: лестницы, комнаты, коридоры, гостиные. Последнее, на мой взгляд, было уже излишне. Насильственные сдвиги мировой истории принудили нас к этой мере; отсюда можно было бы извлечь мораль, что насилие временами способствует обновлению жизни. Я, конечно, не хочу всю заслугу побелки дома приписать одним казакам. У нас стояли также прусские войска и венгерские гусары, не говоря уже о французах... Вот мы и у цели! Прошу пожаловать!

Он с поклоном распахнул дверь и пропустил их в комнату. Глаза женщин беглым испытующим взором окинули накрахмаленные занавеси на обоих окнах, в простенке между ними трюмо, не без тусклых пятен, две белые кровати с общим маленьким балдахином и прочее убранство. Гравированный ландшафт с античным храмом украшал собою одну из стен. Хорошо навоощенный пол так и блестел чистотою.

– Очень мило, – решила советница.

– Мы почтем себя счастливыми, если уважаемым дамам придется здесь по вкусу. Когда что-нибудь понадобится, вот сонетка. О горячей воде я, разумеется, позабочусь. Мы назовем себя счастливейшими из смертных, если угодим госпоже советнице.

– Ну конечно же, голубчик. Мы простые люди и не избалованы. Спасибо, любезный, – обратилась она к привратнику, который снимал с плеча и складывал в угол багаж приезжих. – Спасибо и вам, мой друг, – и она отпустила Магера кивком головы. – Мы всем улажены и довольны и теперь хотели бы только немного...

Но Магер стоял как вкопанный, молитвенно скрестив руки и вперившись своими красноватыми глазами в лицо старой дамы.

– Великий Боже! – произнес он. – Госпожа советница! Какое достойное увековечения событие! Госпожа советница, должно быть, и понять не может чувств человека, на которого неожиданно-негаданно свалился подобный казус со всеми его волнующими перспективами... Госпожа советница уже настолько привыкла к своему, так сказать, священному для нас тождеству, что принимает его легко и буднично и не может понять, что происходит с чувствительной душой, с юных лет приверженной литературе, при знакомстве, прошу прощения, – при встрече с особой, озаренной, если можно так выразиться, лучами поэзии и как бы взнесенной огненными руками к небесам вечной славы...

– Вот что, мой друг, – с улыбкой остановила его советница, хотя дрожание ее головы при словах коридорного усилилось, как бы служа им подтверждением. (Горничная, стоя позади нее, с веселым любопытством разглядывала его почти до слез растроганное лицо, а дочь с показным равнодушием занималась в глубине комнаты раскладкой вещей.) – Друг мой, я простая женщина, без претензий, человек такой же, как все; у вас же столь необычная, высокопарная манера выражаться...

– Мое имя Магер, – пояснительно вставил коридорный. Он выговаривал «Маахер» на своем мягком средненемецком наречии, и в этом звуке было что-то молящее и трогательное. – Я, если это звучит не слишком самонадеянно, являюсь фактотумом этого дома, – что называется, правой рукой фрау Эльменрейх, хозяйки гостиницы. Она вдовствует уже много лет. Господин Эльменрейх, к несчастью, еще в 1806 году пал жертвой событий при трагических обстоятельствах, о которых здесь неуместно распространяться. В моей должности, госпожа советница, да еще во времена, которые суждено было пережить нашему городу, соприкасаясь со множеством людей; мимо нас проходит немало примечательных лиц, примечательных по своему рождению или заслугам, так что невольно перестаешь уже так пылко относиться к соприкосновению с высокопоставленными, причастными к мировой истории особами и носителями влиятельных, волнующих воображение имен. Это так, госпожа советница! Но профессиональная избалованность и черствость – куда они подевались? Во всю мою жизнь, признаюсь откровенно, мне не выпадало встречи, так взбудоражившей мне душу и сердце, как сегодняшняя, поистине достойная увековечения. Мне, как и многим людям, было известно, что почтеннейшая женщина, прототип того вечно милого образа, продолжает здравствовать, и именно в городе Ганновере. Теперь я окончательно убежден, что знал это. Но мое знание не имело реальной основы, и мне никогда не приходила в голову возможность оказаться лицом к лицу со священным для нас созданием. Я и мечтать об этом не смел! Когда я проснулся нынешним утром, – всего несколько часов назад, – я был убежден, что мне предстоит день, как сотни других, заурядный день, исполненный обычных хлопот в конторе и у стола. Моя жена – ибо я женат, госпожа советница, – мадам Магер, моя жена, которая возглавляет здесь кухню, может засвидетельствовать, что я не чаял никаких необыкновенных событий. Я был уверен, что вечером отойду ко сну тем же человеком, каким встал утром. И вот! «Чего не чаешь, то вернее сбудется», – гласит народная мудрость! Да простит мне госпожа советница мое волнение и мою столь неуместную болтливость. «Когда сердце полно, слов не удержишь», как говорит народ на своем хотя и не очень литературном, но метком языке. Если бы госпожа советница знали,

какую любовь и уважение я, так сказать, с молодых ногтей питаю к нашему королю поэтов, великому Гете, и как я, веймарский житель, горжусь тем, что мы вправе называть его своим... Если бы сударыня знали, чем для моего сердца были всю жизнь именно «Страдания молодого Вертера»... Но я молчу, госпожа советница, я отлично знаю, что не мне рассуждать об этом... Хотя, с другой стороны, такое чувствительное произведение ведь принадлежит всему человечеству и одинаково волнует души великих и малых сих, тогда как творения вроде «Ифигении» и «Побочной дочери» являются достоянием лишь высших слоев общества. Стоит только вспомнить, сколь часто, умиленные душой, мы с мадам Магер при тусклой свечке склонялись над этими божественными страницами, и вдруг отдать себе отчет, что вот сейчас передо мной всемирно известная и бессмертная героиня романа, во плоти... такой же человек, как я... Ради бога, госпожа советница! – вскричал он и хлопнул себя по лбу. – Я болтаю и болтаю, и вдруг меня как обухом ударило; ведь я даже не осведомился, пила ли госпожа советница сегодня кофе?

– Благодарю вас, друг мой, – отвечала старая дама, со спокойным взором и слегка подергивающимися уголками рта, внимавшая изливаниям доброго малого. – Мы сделали это в положенное время. Вообще же, мой милый господин Магер, вы слишком далеко заходите в своих сравнениях и впадаете в крайность, попросту смешивая меня, или хотя бы то юное существо, которым я некогда была, с героиней нашумевшей книжки. Вы не первый, кому мне приходится на это указывать. Я это проповедую вот уже сорок четыре года. Правда, та романтическая фигура обрела столь повсеместную жизнь, столь законченное и прославленное существование, что каждый может прийти и сказать: из вас двоих она-то и есть настоящая, – хотя здесь я, безусловно, буду возражать, – но тем не менее девушка из романа очень отличается от меня тогдашней, о нынешней я уже и не говорю. Всякий видит, например, что у меня глаза голубые, в то время как Вертерова Лотта, как известно, черноглазая.

– Поэтическая вольность! – вскричал Магер. – Кто же этого не понимает – поэтическая вольность! Но она, госпожа советница, ни на йоту не умаляет существующего тождества! Пускай поэт воспользовался ею для маскарада, чтобы слегка замести следы...

– Нет, – произнесла советница, задумчиво покачав головой, – черные глаза – это совсем другое.

– А если и так! – перебил ее Магер. – Пусть тождество даже и нарушается маленькими отклонениями...

– Существуют гораздо большие, – настойчиво подчеркнула советница.

– ...но ведь совершенно нетронутым остается другое тождество – тождество с самой собой, я хочу сказать, с той не менее легендарной особой, чей портрет великий человек еще совсем недавно с такою теплотой нарисовал в своих мемуарах; и если госпожа советница не до мельчайшей черточки Вертерова Лотта, то она до последнего волоска Лотта Ге...

– Вот что, почтеннейший! – оборвала его советница. – Прошло немало времени, покуда вы были так любезны указать нам нашу комнату, а теперь вы, видимо, позабыли, что не даете нам воспользоваться ею.

– Госпожа советница! – воскликнул коридорный Гостиницы Слона, молитвенно сложив руки. – Простите меня! Простите человека, который... О да, мое поведение непростительно, я это знаю – и все же осмеливаюсь просить вас о милости. Своим немедленным исчезновением я... Меня ведь так и подмывает, – вставил он, – не говоря уже о том, что мне диктуют правила благоприличия, меня так и тянет отсюда – туда; ибо когда я подумаю, что фрау Эльменрейх до сих пор еще не имеет понятия, – она, наверное, не удосужилась взглянуть на доску, а если и взглянула, то ее здравый практический ум... А мадам Магер, госпожа советница! Как мне хочется сбегать к ней на кухню и первым сообщить ей столь важную городскую и литературную новость. Но как раз чтобы дополнить это волнующее сообщение, я, госпожа советница, и

осмелюсь задать еще один вопрос... Сорок четыре года! И сударыня за эти сорок четыре года ни разу не виделись с господином тайным советником?

– Ни разу, мой друг, – отвечала она. – Я знаю молодого практиканта прав доктора Гете из Вецлара. Веймарского министра, великого поэта Германии, я и в глаза не видела.

– Я потрясен! – задохнулся Магер. – Потрясен до глубины души! Итак, значит, госпожа советница прибыла в Веймар, чтобы...

– Я приехала в Веймар, – перебила его старая дама несколько свысока, – после долгой разлуки свидеться с сестрой, супругой камерального советника Риделя, и представить ей мою дочь Шарлотту, приехавшую из Эльзаса, чтобы сопровождать меня в этом путешествии. Вместе с горничной нас трое, – мы не можем обременять ночлегом мою сестру – у нее большая семья. Поэтому мы и остановились в гостинице, но обедать мы будем у наших милых родственников. Удовлетворены вы наконец?

– Весьма, госпожа советница, весьма! Хотя мы тем самым лишимся чести видеть дам за табльдотом... Господин и госпожа Ридель, Эспланада шесть, о, я знаю! Значит, госпожа камеральная советница урожденная... Ах, да ведь мне это было известно! И отношения, и родство были известны, только реально я себе не представлял... Боже милостивый! Да ведь, значит, госпожа камеральная советница находилась в толпе детей, окружавших госпожу надворную советницу в сенях охотничьего домика, когда Вертер впервые переступил его порог, значит, и она протягивала ручонку за хлебом, который госпожа надворная советница...

– Любезный мой, – снова прервала его Шарлотта, – в охотничьем домике не было никакой надворной советницы. Но, скажите-ка нам лучше, прежде чем показать нашей уже заждавшейся Клерхен ее комнатку, далеко ли отсюда до Эспланады?

– Ах нет, госпожа советница. Рукой подать! У нас в Веймаре нет больших расстояний. Наше величие – в другом, в духовном. Я почту за честь самолично проводить дам до жилища госпожи камеральной советницы, если им не угодно будет предпочесть извозчика или портшез, в которых наша столица не знает недостатка... Но еще одно, госпожа советница, еще одно только слово! Если сударыня и прибыла, главным образом чтобы навестить госпожу камеральную советницу, то, надо думать, на Фрауенплане тоже будут иметь честь...

– Время покажет, мой друг, время покажет! А теперь пора уже отвести мамзель вниз, так как она мне скоро понадобится.

– Да, а по дороге скажите мне, – защелкала Клерхен, – где живет человек, который написал «Ринальдо», этот дивный роман, я читала его раз пять, и еще скажите, неужто мне может выпасть счастье встретить его на улице?

– Может, мамзель, очень даже может, – рассеянно отвечал Магер, направляясь вместе с ней к двери. Но на пороге он вдруг остановился, упершись одной ногой в пол и приподняв другую – для равновесия.

– Еще одно слово, госпожа советница, – взмолился Магер. – Последнее словечко, ответ на него не затруднит госпожу советницу! Госпожа советница поймет: человеку вдруг суждено было оказаться, так сказать, у первоисточника – грех пренебречь таким обстоятельством, не воспользоваться... Госпожа советница, не правда ли, тот последний разговор перед отъездом Вертера, та душераздирающая сцена втроем, когда речь зашла о покойной матери и о вечной разлуке, и Вертер, держа руку Лотты, восклицает: «Мы свидимся, найдем друг друга, среди множества образов вновь друг друга узнаем!» – это правдивое воспоминание? Господин тайный советник его не измыслил? Ведь так все и было?!

– И да и нет, мой друг, и да и нет, – добродушно отвечала усталая жертва его любознательности, и голова ее задрожала сильнее. – Ну, идите уж, идите!

И потрясенный Магер спешно ретировался с кошечкой Клерхен.

Снимая шляпу, Шарлотта испустила глубокий вздох. Дочь, которая в продолжение всего разговора занималась развешиванием платьев в шкафу и методически раскладывала вещи, вынутые из несессера, по полочкам умывальника, насмешливо взглянула на нее.

– Вот, – заметила она, – твоя звезда снова возшла. Эффект был недурен.

– Ах, дитя мое, – возразила мать, – то, что ты называешь моей звездой и что было бы вернее назвать моим крестом – пусть даже орденским, – если хочешь, обнаруживается без моего содействия. Я здесь ни при чем, и не в моей власти скрыть его.

– Немного дольше, милая мама, если не на все время нашей несколько экстравагантной поездки, он все же мог бы остаться скрытым, остановись мы не в гостинице, а у тети Амалии.

– Ты отлично знаешь, Лотхен, что это невозможно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кухни не имеют лишнего помещения, хотя и живут в аристократическом квартале, или, вернее, именно поэтому. Нельзя было явиться к ним втроем и до такой степени стеснить их, пусть даже на несколько дней. Твой дядя Ридель имеет определенный доход от казенной службы, но его постигли тяжелые удары; в шестом году он все потерял, теперь он человек небогатый, и мы ни в коем случае не можем вводить его в расход. А что у меня явилась потребность после долгих лет снова заключить в объятия мою младшую сестру, нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она наслаждается вместе со своим достойным мужем, – разве можно поставить мне это в вину? Не забудь, что я надеюсь быть полезной моим милым родственникам. Твой дядя добивается поста директора великогерцогской камер-коллегии, – благодаря моим связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь, на месте, посодействую осуществлению его мечты. И разве момент, когда ты, дитя мое, после десятилетней разлуки снова со мной, не наиболее подходящий для родственного визита? Неужто же необычная судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне следовать естественному влечению сердца?

– Нет, мама, разумеется, нет.

– Да и кто мог подумать, – продолжала советница, – что мы тотчас же налетим на такого энтузиаста, как этот Ганимед с бакенбардами? Гете в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему доставляло вечное любопытство людей: кто, собственно, настоящая Лотта и где она живет? От таких настойчивых вопросов его не спасало даже инкогнито, – он называет это истинным наказанием и считает, что если и согрешил своей книжкой, то впоследствии сторицей искупил свой грех. Но из этого видно, что мужчины – тем более поэты – заботятся только о себе: он и не подумал о том, что нам тоже приходилось бороться с любопытством, вдобавок ко всем тревогам, которые он нам причинил – твоему незабвенному отцу и мне – своим безбожным смещением правды и поэзии.

– Черных и голубых глаз?

– Кто попал в беду, не избежит и насмешки, и прежде всего от собственной дочери. Надо же мне было одернуть этого неистового малого, принявшего меня такой, как я есть, за Вертерову Лотту.

– У него хватило дерзости в утешение за некоторые несоответствия назвать тебя Гетевой Лоттой.

– По-моему, я и этого не пропустила мимо ушей и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо знала бы тебя, дитя мое, если б не почувствовала, что согласно твоим более строгим убеждениям мне следовало с самого начала крепче держать его в узде. А скажи мне как? Отречься от себя самой? Убедить его, что я ничего знать не знаю о себе и о своем жребии? Но вправе ли я свободно располагать этим жребием, если он так или иначе стал достоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой человек, – позволь мне добавить, что это ни на йоту не умаляет моей любви к тебе. Общительной тебя никак не назовешь – это свойство не вяжется с готовностью жертвовать собою для других. Мне даже часто казалось, что жизнь, полная самопожертвования, – я никого не хочу ни восхвалять, ни порицать, – обычно предполагает известную черствость, которая мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не

можешь сомневаться ни в моем к тебе уважении, ни в моей любви. Вот уже десять лет, как ты – ангел-хранитель твоего бедного, милого брата Карла, которому суждено было потерять молодую жену и лишиться ноги, – беда ведь никогда одна не приходит! Что бы он делал без тебя, мой бедный, больной мальчик! Вся твоя жизнь – это труд и самоотверженная любовь, как же могла она не заронить в тебя известную строгость, не одобряющую праздной чувствительности – в себе и в других. Суровую прозу жизни ты предпочитаешь ее праздникам, – и ты, конечно, права! Связь с великим миром страстей и высокого духа, выпавшая нам на долю...

– Нам? Я не поддерживаю подобных связей.

– Дитя мое, они останутся при нас и будут сопряжены с нашим именем до третьего и четвертого колена, хотим мы этого или не хотим. И когда добрые люди нам докучают, движимые воодушевлением или просто любопытством (как здесь провести границу?), вправе ли мы скардничать и резко отталкивать назойливых? Вот здесь-то и сказывается различие наших натур. И моя жизнь была сурова, и мне от многого приходилось отказываться. Я была, думается мне, хорошей женой твоему милому, незабвенному отцу. Я родила ему одиннадцать детей и девяти-терых вырастила честными людьми – двоих у меня отнял Господь. И я жертвовала собой, терпя и страдая. Но общительность или благодущие, как ты бы презрительно назвала это, мне ни в чем не мешали. Жестокая жизнь меня не ожесточила, повернуться спиной к такому Магеру и сказать ему: «Дурень, оставь меня в покое», – на это, воля твоя, я не способна.

– Ты так говоришь со мною, милая мама, – возразила Лотта-младшая, – словно я позволила себе упрекнуть или, чего доброго, поучать тебя. А я ведь и рта не раскрывала. Мне только досадно, когда люди так неумеренно испытывают твою доброту и терпение и утомляют тебя своими восторгami, неужели ты поставишь мне это в вину? Вот и это платье, – сказала она, вынимая из чемодана матери платье – белое с бантами, розоватыми бантами – и расправляя его, – следовало бы прогладить, прежде чем ты его наденешь. Оно несколько измялось.

Надворная советница покраснела, что как-то трогательно шло к ней, сообщая ее лицу девическую миловидность: сразу можно было себе представить, какую она была в двадцать лет; ласковые голубые глаза под ровными бровями, изящно выточенный носик, приятный маленький рот – в этом розоватом отсвете обрели на несколько секунд всю свою прежнюю прелесть; славная дочка амтмана, мать его сироток, фея вольпертгаузеновских балов внезапно ожила в краске, залившей лицо старой дамы.

Мадам Кестнер сняла плащ и стояла теперь в платье, таком же белом, как и то, более нарядное, которое дочь держала перед ней. В теплую погоду (а дни стояли еще почти летние) она из своенравного пристрастия носила только белые платья. Но то, что держала на вытянутых руках ее дочь, было к тому же украшено бледно-розовыми бантами.

Невольно обе они отвернулись; старшая, видимо, от платья, молодая – от краски, набежавшей на лицо матери и сделавшей его таким милым и молодым, что она почувствовала зависть.

– Да нет же, – отвечала советница на предложение Шарлотты. – К чему лишние хлопоты! Этот креп превосходно отвисится в шкафу. Да и кто знает, соберусь ли я вообще надеть его.

– Почему бы и нет, – произнесла дочь, – и зачем же ты тогда его привезла? Но именно потому, что ты, безусловно, его наденешь при случае, позволь мне, милая мама, еще раз спросить тебя, не решишься ли ты все же заменить эти несколько светлые банты на лифе и рукавах более темными, ну, скажем, лиловыми. Я могла бы перешить их в одну минуту.

– Ах оставь меня, Лотхен! – нетерпеливо возразила советница. – Ты, дитя мое, не понимаешь шуток. Хотела бы я знать, чем тебе не по душе эта забавная маленькая шутка, легкий намек и знак внимания. Позволь тебе заметить, что я редко встречала людей, до такой степени лишенных чувства юмора, как ты.

– Не следует у кого бы то ни было, – отвечала дочь, – кого не знаешь или знаешь недостаточно, предполагать это чувство.

Шарлотта-старшая хотела еще что-то возразить, но ей помешало возвращение Клерхен, которая принесла горячую воду и бойко затараторила о том, что камеристка графини Лариш весьма приятная особа и что они, надо думать, отлично уживутся вместе. К тому же этот комичный господин Магер заверил ее, что ей удастся увидеть господина библиотекаря Вульпиуса, шурина господина фон Гете и автора дивного «Ринальдо», на его пути в библиотеку и даже полюбоваться на его сынишку, названного Ринальдо в честь героя знаменитого романа, когда тот пойдет в школу.

– Вот и отлично, – сказала советница, – но время уже позднее, пора тебе, Лотхен, в сопровождении Клерхен отправиться на Эспланаду к тете Амалии и сообщить ей о нашем прибытии. Она еще не подозревает о нем и ждет нас к обеду или к вечеру, полагая, что мы задержались в Готе у Либенау, тогда как мы сумели уклониться от этого визита. Иди, дитя мое, пусть Клерхен хорошенько разузнает дорогу. Поцелуй от меня свою милую тетю и подружись за это время с кузинами. Мне, старой женщине, необходимо полежать часок-другой. Я последую за вами, как только немного передохну.

Она поцеловала дочь, как бы в знак примирения, легким кивком головы ответила на прощальный книксен горничной и осталась одна. На подзеркальнике стояла чернильница и лежали перья. Советница села, взяла листок бумаги, обмакнула перо и, со слегка трясущейся головой, быстро написала заранее приготовленные слова.

«Высокочитимый друг! Приехав навестить свою сестру и намереваясь пробыть несколько дней в вашем городе, я хотела бы представить вам свою дочь, не говоря уже о том, что для меня будет большой радостью снова взглянуть на лицо, ставшее миру столь драгоценным за долгие годы, прожитые каждым из нас по мере отпущенных ему сил. Веймар, Гостиница Слона, 22 сентября 16 года, Шарлотта Кестнер, рожденная Буфф».

Она посыпала бумагу песком, подождала немного, искусно сложила листок концами внутрь и надписала адрес. Затем она дернула сонетку.

Глава вторая

Шарлотта долго не находила покоя, к которому, впрочем, и не слишком стремилась. Правда, сняв платье и покрывшись пледом, она растянулась на одной из кроватей под маленьким балдахинном и, положив на глаза носовой платочек, чтобы защитить их от режущего света, – на окнах не было темных занавесей, – смежила веки. Но при этом она скорее предавалась мыслям, заставлявшим сильнее биться ее сердце, чем дремоте, требуемой голосом благоразумия. Тем более что именно неразумие представлялось ей доказательством и признаком ее внутренней несокрушимости, неподатливости годам и втайне нравилось ей – слова, некогда написанные тем юношей в прощальной записке: «А я, милая Лотта, счастлив, читая в ваших глазах веру в то, что я никогда не переменюсь», это – религия нашей молодости, а от нее люди, собственно, никогда не отступают. И то, что она выдержала испытание временем, то, что мы остались такими же, как были, и старость для нас наступила лишь телесная, внешняя, ибо ничто не властно над нашей душой, над этим неразумным, через долгие десятилетия пронесенным «я», – наблюденье, утешительное в преклонных годах, ибо оно – стыдливая и радостная тайна нашего старческого достоинства. Да, так становишься старой женщиной, сама насмешливо именуешь себя таковою и пускаешься в дорогу с двадцатидевятилетней дочерью – девятою из детей, рожденных тобою супругу. Но вот ты лежишь здесь, и сердце у тебя бьется, как у школьницы перед сумасбродной шалостью. Шарлотта представила себе людей, которые найдут это очаровательным.

Но Лотхен-младшую лучше было себе не представлять свидетельницей этого сердечного порыва. Несмотря на примирительный поцелуй, мать не переставала на нее сердиться за «отсутствие чувства юмора» и критику, наведенную на платье и банты, по существу же относившуюся к этой столь достойно и естественно обоснованной поездке, которую та назвала «экстравагантной». Неприятно возить с собой человека, слишком проницательного, чтобы верить, будто вся поездка затеяна ради него, и догадывающегося, что он не более как ширма; еще неприятнее и оскорбительнее, когда на тебя смотрят столь прозорливо, вернее косо, и из всех разнородных мотивов поступка видят только деликатно замалчиваемые, только их признают подлинными, благоприличные же и явно высказанные, как бы они ни были уважительны, считают пустыми отговорками!

Шарлотта с гневом ощутила оскорбительность такой – да, может быть, и всякой – психологии и приписала ее дочерней черствости.

Разве таким «прозорливцам», думала она, нечего страшиться? Это палка о двух концах. Если вытащить на свет божий мотивы их «прозорливости», вряд ли таковые сведутся к одному правдолюбию. Горделивая холодность Лотхен, – и в нее можно взглядеться проницательным взором, и она даст повод к различным толкам, не слишком благоприятным. Треволения чувств, выпавшие на долю матери, пока что не были суждены этой разумной дочке, да, судя по ее натуре, вряд ли и будут ей суждены. Треволения, ставшие следствием знаменитого тройственного союза, который начался так весело, так мирно, но затем из-за сумасбродства одного звена выродился в мучительное смятение, в великий, честно преодоленный иску́с добродетельного сердца, чтобы однажды, – о, горделивое отчаяние! – стать достоянием целого света, возвыситься до сверхжитейского, обрести высшую форму существования и, как некогда девичье сердце, взбудоражить и смутить все человечество, более того, привести его в опасное, как тогда утверждалось, восхищение.

Дети жестоки, думала Шарлотта, и нетерпимы к личной жизни матери: из эгоистического почтения, способного любовь превратить в безлюбие и не делающегося более похвальным оттого, что к нему примешивается простая женская зависть – зависть к сердечной эпопее матери, под видом насмешливого недовольства широкой славой этой эпопеи. Нет, благомысля-

щая Лотхен никогда не пережила того страшно прекрасного и преступно сладостного чувства, как ее мать в вечер, когда муж уехал по делам и пришел тот, хотя ему и запрещено было показываться раньше сочельника, когда она напрасно посылала за подругами и вынуждена была остаться с ним наедине, а он читал ей из Оссиана и прерывал чтение о страданиях героя, изнемогши от собственной муки, когда в отчаянии он упал к ее ногам и прикладывал ее ладони к своим глазам, к своему измученному лбу, а она, движимая состраданием, пожимала его руки, и их пылающие щеки соприкоснулись, и мир, казалось, исчез в буре неистовых поцелуев, которыми его рот внезапно опалил ее слабо сопротивляющиеся губы...

Тут ей пришло в голову, что и она этого не пережила. Это была та высокая действительность, и сейчас, под платочком, она смешала ее с малой, в которой все протекало куда менее бурно. Безрассудный юнец на деле похитил у нее лишь один поцелуй, или, вернее, хотя это выражение не подходило к их тогдашнему состоянию, от души поцеловал ее – не то вихрь, не то меланхолик – за собиранием малины на солнцепеке, поцеловал быстро и горячо, вдохновенно и с алчной нежностью, и она это допустила. Но затем она повела себя здесь, на земле, не хуже, чем там, в выпрессованном мире, – да, именно потому она и могла навеки остаться там до боли благородной фигурой, что умела вести себя здесь так, что не заслужила бы укора и самой щепетильной дочери. Ибо, при всей своей сердечности, это был смущающий и безумный, недозволенный и ненадежный поцелуй из другого мира, поцелуй принца-бродяги, для которого она была и слишком плоха, и слишком хороша. И если у бедного принца из страны бродяг, да и у нее тоже, на глаза навернулись слезы, то она тем не менее с безупречным негодованием сказала: «Фу, как ему не стыдно! Пусть он остережется повторения, иначе дружбе конец! И пусть запомнит: это не останется между нами, я сегодня же расскажу обо всем Кестнеру». И как он ни молил ее промолчать, она в тот же вечер повинилась своему любезному, ибо ему надлежало знать: не то, что тот на это решился, а что она это допустила. И Альберт с болью выслушал ее рассказ, а затем в разговоре они, во имя своей разумной и нерушимой преданности друг для друга, решили крепче держать в узде третьего и заставить его уяснить себе истинное положение вещей.

С закрытыми веками она еще сегодня, после стольких лет, с поразительной ясностью видела физиономию, которую он соорудил при более чем сухом приеме, оказанном ему помолвленной парочкой на следующий, вернее, на третий день после поцелуя. Он пришел вечером, в десять, когда они сидели вдвоем перед домом, – с букетом цветов, принятым до того небрежно, что он бросил его наземь, а затем понес несусветный вздор и даже заговорил тропами. Как вытянулось у него лицо под напудренными и скатанными возле ушей волосами, лицо с большим, печальным носом, легкой тенью усиков над женственным ртом и мягким подбородаком, – и с какой мольбой смотрели на нее карие глаза под на редкость красивыми шелковисто-черными бровями, казавшимися маленькими по сравнению с носом.

Таким она его увидела на третий день после поцелуя и, памятуя свой уговор с женихом, в сухих словах попросила его раз и навсегда запомнить: ему не на что рассчитывать здесь, кроме доброй дружбы. Разве же он этого не знал? Почему при ее словах у него ввалились щеки, и он так побледнел, что глаза и шелковистые брови еще темнее и резче выступили на побелевшем лице? Приезжая подавила растроганную улыбку под своим платочком при воспоминании об этой наивно-разочарованной мине, которую она в тот же вечер описала Кестнеру, после чего они оба решили послать милому чудаку в день двойного рождения, его и Кестнера, в прославленный в веках день двадцать восьмого августа, вместе с карманной книжечкой Гомера еще и бант, бант от платья, – пусть у него будет хоть что-нибудь...

Шарлотта покраснела под платочком, и ее шестидесятитрехлетнее сердце школьницы забилося быстрее, отчетливее. Лотхен-младшая еще не знала, что мать зашла в своей шутке так далеко, и на приготовленном платье, повторении «платья Лотты», оставила пустым место подаренного банта: его не было, его место пустовало, ибо им владел тот отрешенный, кото-

рому она с согласия жениха послала в утешение этот бант; тот, который покрывал бесценную памятку тысячами исступленных поцелуев... Сиделке брата Карла осталось бы только презрительно поджать губы, узнай она эту подробность материнской затеи. А ведь все было задумано в память ее отца, честного, преданного, который не только одобрил подарок, но сам предложил его и, несмотря на все, что пришлось ему вынести по вине взбалмошного принца, плакал вместе со своей Лотхен, когда уехал тот, кто едва не похитил лучшее его сокровище.

«Он уехал», – сказали они друг другу, прочитав каракули, писанные ночью и на рассвете: «Я оставляю вас счастливыми и пребуду в ваших сердцах... Прощайте, тысячу раз прощайте!» «Он уехал», – поочередно говорили они, и все дети в доме бродили как потерянные, печально твердя: «Он уехал!» Слезы выступили на глазах Лотты при чтении записки, но она могла плакать, не таясь от милого; ибо и его глаза увлажнились, и весь день он только и мог говорить что о друге: какой это замечательный человек, иногда не без странностей, кое в чем неприятный, но до чего же преисполненный гения и удивительного своеобразия, заставляющего сострадать ему, о нем заботиться и от души перед ним преклоняться.

Таков был Кестнер. И ее потянуло с благодарностью прижаться к нему, прижаться крепче, чем когда-либо, за то, что он так говорил и находил вполне естественными ее слезы о том, уехавшем. И вот теперь, когда она лежала с закрытыми глазами, в ее беспокойном сердце во всей своей теплоте обновилась эта благодарность; ее тело двигалось, словно стремясь прильнуть к надежной груди, и губы ее повторяли слова, сказанные в тот день. «Хорошо, что он уехал», – бормотала она – этот извне явившийся третий, ведь все равно она не могла дать ему то, чего он от нее хотел. Ее Альберт радовался этим словам, ибо чувствовал превосходство и блеск ушедшего так же сильно, как и она, так сильно, что он начал сомневаться в их совместном разумном, ясном счастье и однажды, в письме, пожелал возвратить ей данное слово, чтобы она могла свободно выбрать между ним и принцем. И она выбрала – но было ли это выбором? – опять же его, положительного, суженого и предназначенного, своего Ганса-Христиана, – не потому только, что любовь и верность взяли верх над искушением, но и в силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого – перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не могла и не смела подыскать имени и нашла лишь позднее в его же собственном покаянном жалобном признании: «Выродок без цели и покоя...» Как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным, что дети искали его и плакали: «Он уехал!»

Множество летних картин той поры проходило перед ее воображением, вспыхивало в свежей, солнечной живости и вновь потухало. Сцены втроем, когда Кестнер, вернувшись со службы, отправлялся вместе с ними на прогулку по горному хребту, с которого они любовались рекою, извивавшейся по лугам, холмистой долиной, чистенькими деревушками, дворцом и сторожевой башней, монастырскими стенами и руинами замка, и тот, радуясь совместному наслаждению всем чудным изобилием мира, говорил о высоких материях и тут же так неистово дурачился, что жених с невестой едва передвигали ноги от смеха. Часы чтения на лугу и в доме, когда он читал им своего излюбленного Гомера или «Песнь о Фингале» и вдруг, объятый чем-то вроде вдохновенного гнева, швырнул книгу и ударил кулаком по столу и тотчас, заметив их недоумение, разразился веселым смехом... Сцены вдвоем, между ним и ею, когда он помогал ей по хозяйству, срезал бобы в огороде или собирал с нею яблоки в саду Немецкого орденового дома, – славный малый и добрый товарищ. Одного взгляда или строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его, если он намеревался предаться горестным излияниям. Она видела и слышала все это, себя, его, жесты и выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы, шутки, «Лотта!», и «Голубка Лотхен!», и «Пора ему оставить эту чепуху! Пусть лезет наверх и сбрасывает яблоки в мою корзину». Но удивительно было то, что вся отчетливость и ясность этих картин, вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук; что память, вначале не способная удержать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за

словом возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их «вокруг да около», до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во славу того значения, которое они нежданно-негаданно получили в дальнейшем.

Под учащенное биение сердца, ими вызванное и бывшее естественным следствием путешествия в страну юности, они начали сливаться, перешли в замысловатую нелепицу сновидения и растворились в дремоте, после рано начатого дня и дорожной тряски на добрых два часа объявшей шестидесятилетнюю женщину.

Покуда Шарлотта спала, забыв о своих тревогах, о чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой прозаической станции по пути в страну юности, на придворной церкви во имя святого Иакова пробило десять и половина одиннадцатого, а она все продолжала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбудили, от подсознательного ощущения приближающейся извне помехи, невольно торопясь предупредить ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее настороженно, если бы не предчувствие, что ее сон будет нарушен не заждавшейся сестрой, но вестью из другой, тревожащей ее сферы.

Она села, взглянула на часы, немного испугалась позднего времени, ничего другого не имея в мыслях, кроме того, что ей надо спешить к родственникам. Но едва она начала приводить в порядок свой туалет, как в дверь постучали.

– Что там такое? – спросила она досадливо и даже жалобно. – Сюда нельзя!

– Это только я, госпожа советница, – отвечали за дверью. – Я, Магер. Прошу прощения, госпожа советница, за беспокойство, но дело в том, что одна дама, мисс Гэзл из девятнадцатого номера, английская дама, проживающая у нас...

– Ну, и что же дальше?

– Я бы не посмел нарушить покой госпожи советницы, – продолжал Магер, – но мисс Гэзл, узнав о пребывании госпожи советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут.

– Передайте этой даме, – отвечала Шарлотта из-за двери, – что я не одета и, как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления.

Но вразрез с этими словами, она накинула на себя пудермантель; твердо решив отразить нападение, она в случае неудачи все же не хотела быть застигнутой врасплох.

– Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл, – отвечал Магер из коридора. – Она все слышит сама, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Гэзл крайне необходимо хотя бы на минутку повидать госпожу советницу.

– Но я не знаю этой дамы! – с сердцем воскликнула Шарлотта.

– Именно поэтому, госпожа советница, – возразил коридорный, – мисс Гэзл придает столь большое значение хотя бы беглому знакомству с госпожой советницей. *She wants to have just a look at you, if you please*¹, – произнес он, искусно артикулируя ртом и как бы перевоплощаясь в просительницу, что, видимо, и послужило для нее сигналом самой взяться за дело, изъыв его из рук посредника; за дверью тотчас же послышалась взволнованная тарабарщина, производимая высоким детским голосом, поток слов отнюдь не прекращающийся, но под отчетливо выделенные «*most interesting*», «*highest importance*»² – так неудержимо льющийся дальше, что осажденная сочла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась предупредительным переходом на английский язык облегчать им хищение ее времени и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полусуетливым «*Well, come in please*»³, и

¹ Она хочет только взглянуть на вас, если позволите (*англ.*).

² Весьма интересно, очень важно (*англ.*).

³ Хорошо, пойдите (*англ.*).

тотчас же рассмеялась на Магерово «Thank you so very much»⁴, с которым он распахнул дверь, чтобы, в низком поклоне перевесившись через порог, впустить мисс Гэзл.

– Oh dear, oh dear!⁵ – воскликнула маленькая женщина оригинальной и веселой наружности. – You have kept me waiting – вы заставили меня ждать, but that is as it should be⁶. Мне временами требовалось куда больше терпения, чтобы добиться цели. I am Roze Gazzle. So glad to see you⁷. – Едва только, пояснила она, ей стало известно через горничную, что миссис Кестнер сегодня приехала в этот город и стоит в той же гостинице, через два номера от нее, как она, недолго думая, отправилась с визитом. Ей отлично известно («I realise»), сколь важную роль сыграла миссис Кестнер in german literature and philosophy⁸. Вы знаменитая женщина, a celebrity, and that is my hobby, you know the reason I travel...⁹ Не разрешит ли dear миссис Кестнер на скорую руку набросать ее очаровательное лицо вот в этом альбоме для зарисовок?

Альбом широкого формата в холщовом переплете она держала под мышкой. Над ее лбом пылали красные локоны, красным казалось и ее лицо с веснушчатым вздернутым носом, толстыми, но приятно очерченными губами, открывавшими белоснежные здоровые зубы; глаза у нее были сине-зеленые, тоже весьма приятные, хотя иногда они вдруг начинали косить. На ней было платье à la grecque¹⁰ из легкой цветистой материи, избыток которой в виде шлейфа она держала переброшенным через руку; ее грудь, такая же веснушчатая, как и нос, казалось, вот-вот весело выкатится из выреза платья, на античный манер высоко схваченного кушаком. Прозрачная шаль прикрывала ее плечи. По виду Шарлотта дала ей лет двадцать пять.

– Дитя мое, – произнесла она, несколько уязвленная в своих бюргерских понятиях бойкой эксцентричностью этой девицы и все же готовая проявить светскую терпимость, – милое дитя, я весьма польщена интересом, который внушает вам моя скромная особа. Позвольте еще добавить, что ваша решительность мне очень понравилась. Но вы видите, как мало я подготовлена к приему гостей, а тем более к позированию для портрета. Я собираюсь уходить, мои милые родственники уже заждались меня. Я очень рада знакомству с вами, хотя бы и беглому, как вы сами выразились, на последнем мне, к сожалению, приходится настаивать. Мы видели друг друга – все остальное шло бы уже вразрез с уговором. Итак, позвольте одновременно с приветствием пожелать вам всего наилучшего.

Неизвестно, поняла ли мисс Гэзл ее слова; во всяком случае, она не обратила на них ни малейшего внимания. Продолжая величать Шарлотту «dear» и быстро двигая забавными толстыми губами, она неудержимо пыталась втолковать ей на своем непринужденном и юмористически светском языке смысл и цель своего визита, посвятить ее в деятельную жизнь страстного следопыта-коллекционера.

Собственно, она была ирландка. Она путешествовала, делая зарисовки, причем цель и средства с трудом поддавались различию. Видимо, ее талант был недостаточно велик, чтобы не искать поддержки в сенсационности объекта; живость же и практическая сметка слишком велики, чтобы удовлетвориться терпеливым совершенствованием своего искусства. Потому ее вечно видели в погоне за звездами современной истории или в поисках прославленных местностей, которые заносились в ее альбом, по мере возможности скрепленные удостоверяющими подписями. Шарлотта дивилась, слушая, где только не побывала эта девушка. Аркольский мост, афинский Акрополь; дом, где родился Кант, в Кенигсберге, она зарисовала углем. Сидя в шаткой лодчонке, прокат которой ей обошелся в пятьдесят фунтов, она запечатлела

⁴ Покорно вас благодарю (англ.).

⁵ О боже, боже! (англ.)

⁶ Но это не существенно (англ.).

⁷ Я Роза Гэзл и так рада видеть вас (англ.).

⁸ В немецкой литературе и философии (англ.).

⁹ Знаменитость, а это мой конек, цель моих путешествий (англ.).

¹⁰ В греческом стиле (фр.).

на Плимутском рейде императора Наполеона, когда он после торжественного обеда появился с табакеркой в руке на палубе «Беллерефонта». Рисунок вышел неважный, она сама в этом признавалась: невообразимая толчея лодок, наполненных кричащими «ура» мужчинами, женщинами, детьми, качка, а также краткость императорского пребывания на палубе весьма отрицательно отозвались на ее работе; и сам герой, в треуголке и расстегнутом сюртуке с развевающимися фалдами, выглядел как в кривом зеркале: приплюснутым сверху и комично раздавшимся в ширину. Несмотря на это, ей все же удалось через знакомого офицера исторического корабля заполучить его автограф или, вернее, торопливую каракулю, которая должна была сойти за таковой. Герцог Веллингтон удостоил ее той же чести. Превосходную добычу дал Венский конгресс. Необыкновенная быстрота, с которой работала мисс Гэзл, позволяла самому занятому человеку между делом удовлетворить ее притязания. Так поступили: князь Меттерних, господин Талейран, лорд Кестерри, господин фон Гарденберг и многие другие представители европейских держав. Царь Александр признал и скрепил подписью свое курносое изображение, вероятно потому, что художнице удалось из жидких волос, торчащих вокруг его лысины, создать некое подобие лаврового венца. Портреты Рахили фон Варнгаген, профессора Шеллинга и князя Блюхера фон Вальштадт доказывали, что и в Берлине она не теряла времени даром. Она везде умела его использовать. Холщовый переплет ее альбома скрывал еще немало трофеев, которые она, оживленно их комментируя, показывала опешившей Шарлотте. В Веймар ее привлекла слава этого города, of this nice little place¹¹, как средоточия прославленной немецкой культуры, – для нее он был полем охоты за знаменитостями. Она сожалела, что поздно выбралась сюда. Old¹² Виланд, а также Гердер, которого она называла great preacher¹³, и the man who wrote the «Brigands»¹⁴ умерли и таким образом от нее ускользнули. Правда, в ее записках значилось, что здесь все еще живут писатели, на которых стоит поохотиться, как, например, господа Фальк и Шютце. Вдову Шиллера она уже заполучила в альбом, а также мадам Шопенгауэр и несколько наиболее известных актрис придворного театра – Энгельс и Лорцинг, например. До госпожи фон Гейгендорф, вернее, Ягеманн, ей еще не удалось добратся. Но она тем настойчивее стремилась к этой цели, что через посредство прекрасной фаворитки надеялась открыть себе доступ и ко двору. Кое-какие зацепки для проникновения к великой княгине, супруге наследного принца, у нее уже имелись. Что касается Гете, чье имя, как, впрочем, и большинство имен, она выговаривала столь ужасно, что Шарлотта долго не понимала, кого она, собственно, имеет в виду, то она и здесь уже напала на след, хотя дичь еще пряталась в кустах. Весть о том, что знаменитая «модель» героини прославленного романа с сегодняшнего утра находится в городе, в той же гостинице, чуть ли не в соседнем номере, наэлектризовала ее не только из-за самого объекта, но и потому, что благодаря этому знакомству – откровенно призналась она – можно будет убить двух зайцев сразу: Вертерова Лотта, без сомнения, проложит ей дорогу к автору «Фауста»; а последнему стоит только замолвить слово, и перед нею распахнутся двери госпожи Шарлотты фон Штейн. Об отношении этой леди к образу Ифигении в ее записной книжке, в отделе german literature and philosophy¹⁵, значилось кое-что для памяти, что она и не замедлила показать ее тезке из царства прообразов.

Случилось так, что Шарлотта, в своем белом пудермантеле, вместо нескольких минут просидела с Розой Гэзл три четверти часа. Увлеченная наивной прелестью и веселой энергией маленькой женщины, подавленная величием ее охотничьих трофеев, она недоумевала, стоит ли считать пошлостью такой художественный спорт или лучше на все это взглянуть сквозь

¹¹ Этого прелестного уголка (англ.).

¹² Старый (англ.).

¹³ Великий проповедник (англ.).

¹⁴ Человек, который написал «Разбойников» (англ.), то есть Шиллер.

¹⁵ Немецкая литература и философия (англ.).

пальцы: как-никак лестно быть причисленной к большому свету, дыханием которого веяло от «охотничьих записок» мисс Гэзл, быть принятой в сонм славных, запечатленных на этих страницах. Короче – жертва своей общительности – Шарлотта сидела в одном из обитых кретоном кресел, с улыбкой прислушиваясь к болтовне странствующей художницы, которая рисовала ее, примостившись напротив.

Она делала это виртуозно, слышными штрихами, видимо, не всегда столь же удачными, сколь уверенными, так как ей часто приходилось стирать их большой резинкой, причем она не проявляла ни малейшей нервозности. Шарлотте было приятно встречать взгляд этих слегка косящих глаз, не причастных болтовне художницы. Веселую бодрость вселял вид ее округлых грудей, белоснежных зубов и оттопыренных губок, рассказывающих о далеких странах, о встречах со знаменитыми людьми. Все это было в одинаковой мере безобидно и интересно, почему Шарлотта на малый срок и позабыла о том, что ей пора уходить. Если бы Лотхен-младшая и подсадовала на это вторжение, то тревогу о душевном состоянии матери она бы здесь не могла выставить истинной причиной своего недовольства. Нескромности со стороны этой маленькой представительницы англосаксонской расы опасаться не приходилось; она была ей несвойственна. Это действовало успокоительно и придавало особую прелесть общению с ней. Говорила только она, Шарлотта с улыбкой ее слушала и от души посмеялась над одной из историй, которую Роза протараторила, не прерывая работы. Однажды, в горах Абруцции, ей удалось включить в свою коллекцию разбойничьего атамана по имени Бокаросса, и прославленный своею храбростью и жестокостью бандит так растрогался оказанным ему вниманием, так по-детски обрадовался своему воинственному изображению, что приказал разбойникам отдать салют в честь мисс Розы из воронкообразных коротких ружей и под надежным эскортом выпроводил ее за пределы действий своей шайки. Шарлотту немало позабавила дикая и, как она решила, довольно тщеславная рыцарственность ее соседа по альбому. Слишком увлеченная, чтобы удивиться тому, откуда вдруг взялся Магер, она вопросительно взглянула на коридорного, многократный стук которого они за разговором и смехом не расслышали.

– Beg your pardon¹⁶, – сказал он. – Очень сожалею, что нарушил собеседование, но господин доктор Ример просит передать, что он был бы весьма счастлив засвидетельствовать свое почтение госпоже советнице.

¹⁶ Прошу прощения (англ.).

Глава третья

Шарлотта торопливо привстала.

– Это вы, Магер? – растерянно спросила она. – Что случилось? Господин доктор Ример? Какой такой доктор Ример? Уж не докладываете ли вы о новом госте? Что вам взбрело на ум? Это же невозможно! Который теперь час? Так поздно! Милое дитя, – обратилась она к мисс Розе, – нам необходимо закончить нашу дружескую беседу. На что это похоже? Мне пора одеваться и уходить. Меня уже заждались! Всего хорошего! А вы, Магер, скажите этому господину, что я не могу его принять, что я уже ушла.

– Слушаюсь, – отвечал Магер, покуда мисс Гэзл спокойно продолжала заниматься своим делом. – Слушаюсь, госпожа советница. Но я не хотел бы выполнить приказание госпожи советницы, не убедившись, что ей известно тождество господина...

– Какое там еще тождество! – в сердцах воскликнула Шарлотта. – Да оставите ли вы меня, наконец, в покое с вашими тождествами? Мне некогда! Скажите этому господину...

– Незамедлительно, – покорно согласился Магер. – Но я все же считаю своим долгом поставить в известность госпожу советницу, что речь идет о господине Римере, докторе Фридрихе Вильгельме Римере, секретаре и доверенном лице его превосходительства господина тайного советника. Не исключено, что господин доктор является посланцем...

Шарлотта опешила, покраснела, и дрожанье ее головы заметно усилилось, когда она взглянула на Магера.

– Ах так! – нерешительно произнесла она. – Но все равно, я не могу принять этого господина, я никого не могу принять. Право, не понимаю, о чем вы, собственно, думали, предполагая, что я его приму? Вы контрабандой ввели ко мне мисс Гэзл, а теперь хотите, чтобы я, полуодетая, среди такого беспорядка принимала еще и доктора Римера?

– Этой беде можно помочь, – возразил Магер, – у нас в первом этаже имеется гостиная. В надежде на согласие госпожи советницы я попросил господина доктора подождать, покуда госпожа советница закончит свой туалет, и затем хотел просить позволения госпожи советницы проводить ее вниз на несколько минут.

– Надеюсь, – сказала Шарлотта, – что речь идет все же о других минутах, чем те, которые я посвятила этой очаровательной барышне. Милое дитя, – обратилась она к Гэзл, – вы сидите и рисуете... Вы видите мое положение! Благодарю вас за приятную встречу, но то, что вы еще не успели нарисовать, вам, к сожалению, придется восстановить по памяти...

Ее предупреждение оказалось излишним. Мисс Роза, ослабившись, объявила, что она готова.

– I'm quite ready!¹⁷ – воскликнула она, держа свое произведение в вытянутой руке и разглядывая его прищуренным глазом, – I am ready¹⁸. Хотите посмотреть?

Хотел этого в первую очередь Магер, который тотчас же приблизился.

– Превосходный рисунок, – решил он с видом знатока. – И документ большого значения.

Шарлотта, озабоченная приведением в порядок своего туалета, едва взглянула на свежее возникшее произведение искусства.

– Да, да, очень мило, – пробормотала она. – Это я? О да, конечно, сходство есть. Мою подпись? Давайте сюда – только поскорей...

Не присаживаясь, она начертала углем свою подпись, по беглости не уступавшую наполеоновской, торопливым кивком ответила на прощальное приветствие ирландки и велела Магеру просить господина Римера набраться терпения еще на несколько минут.

¹⁷ Я совсем готова! (англ.)

¹⁸ Я готова (англ.).

Когда, уже одетая для выхода, в шляпе и мантилье, с ридикюлем и зонтиком в руках, она покинула свою комнату, Магер дожидался ее в коридоре. Он проводил ее вниз по лестнице в первый этаж и, пропуская вперед, распахнул дверь в гостиную. При ее появлении посетитель поднялся со стула, рядом с которым стоял на полу его цилиндр.

Доктор Ример – человек лет сорока, среднего роста, с густыми, зачесанными на виски каштановыми волосами, уже слегка тронутыми сединой, с широко расставленными и выпуклыми глазами, с прямым мясистым носом и мягким ртом, вокруг которого залегала какая-то брюзгливая, недовольная складка, – был одет в коричневый сюртук с высоким воротником, подпиравшим затылок, и пикейный жилет, в вырезе которого виднелись скрещенные концы галстука. Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок.

– Ваш покорный слуга, госпожа советница, – произнес он звучным носовым голосом. – Не могу не упрекнуть себя за непростительно поспешный визит. Такое отсутствие самообладания, бесспорно, менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукается поэт; едва только слух о прибытии госпожи советницы разнесся по городу, я почувствовал непреодолимое желание тотчас же явиться сюда засвидетельствовать свое почтение и приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал – с формированием наших сердец.

– Господин доктор, – проговорила Шарлотта, с церемонной обстоятельностью отвечая на его поклон, – внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно.

То, что эти заслуги были ей несколько темны, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества, и новой для нее вести – что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпения, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека – его высокое служение *тому*. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим служением, – и удивилась такой причуде. Должен же он по крайней мере понимать, что для нее его значение определялось одним: вестник ли он оттуда или нет? Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса и, довольная тем, что ее туалет с несомненностью свидетельствовал о ее намерениях, продолжала:

– Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух о событии столь приватного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя сестра, камеральная советница, – торопливо добавила она, – на пути к которой вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом, ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, но достаточно забавном: я имею в виду визит одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорей нарисовать портрет старой женщины – задача, с которой она, насколько я понимаю, справилась довольно относительно... Но не лучше ли нам присесть?

– Так, так, – отвечал Ример, продолжая держаться за спинку стула, – по-видимому, госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое.

Мне лишь в наброске удалось
Запечатлеть живое, —

с улыбкой процитировал он. – Но я вижу, что меня опередили, и если я чувствую себя до известной степени утешенным, узнав, что другие разделяли со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благосклонным мгновением. Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее достичь, и мне, госпожа советница, признаюсь, будет

нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас, после того как я с таким трудом проложил себе к вам дорогу!

– С трудом? – удивилась она. – Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на цербера.

– Пожалуй, – согласился Ример. – Но да убедится госпожа советница самолично.

С этими словами он подвел ее к окну, выходившему, как и окно ее спальни, на Рыночную площадь, и приподнял накрахмаленную занавеску.

Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Больше всего народа толклось у подъезда, где два фельдфебеля старались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных бюргеров.

– Боже милосердный! – проговорила Шарлотта, и голова ее снова задрожала. – Кого они высматривают?

– Кого же, как не вас, сударыня, – отвечал доктор. – Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротой. Смею вас заверить, да, впрочем, вы, госпожа советница, видите это сами, что город стал похож на разворошенный муравейник. Каждый надеется уловить хоть отблеск вашего сияния. Эти люди у ворот ждут, когда вы выйдете из дому.

Шарлотта невольно опустила в кресло.

– Бог ты мой! – сказала она. – И это мне удружил все тот же несчастный энтузиаст Магер. Он раззвонил во все колокола о нашем приезде. И надо же было, чтобы эта странствующая рисовальщица помешала мне уйти, куда выход был свободен! Но эти люди там, внизу, господин доктор, – неужто они не нашли ничего лучшего, как осадить квартиру старой женщины, отнюдь не расположенной изображать из себя какого-то диковинного зверя и не имеющей в помыслах ничего, кроме своих частных дел.

– Не сердитесь на них, – сказал Ример. – Этот натиск свидетельствует о чувствах более благородных, нежели простое любопытство, а именно о наивной преданности наших жителей высшим интересам науки, о популярности духовного начала, не делающейся менее трогательной и отрадной, даже если к ней примешиваются известные экономические соображения.

Разве мы не должны радоваться, – продолжал он, возвращаясь со смятенной Шарлоттой в глубину комнаты, – если толпа, согласно ее собственному примитивному убеждению, извечно презирающая дух, приходит к почитанию этого духа единственно доступным ей путем – признанием его полезности? Наш многопосещаемый городок извлекает немало ощутимой пользы из поклонения немецкому гению, который для всего мира концентрируется в нем, для нас же, здешних жителей, в свою очередь, сосредоточивается в одном лице. Так можно ли удивляться, что веймарцы мало-помалу привыкли уважать то, что некогда казалось им вздором, и ныне почитают гуманитарные науки и все с ними связанное кровным своим интересом? При этом – творения духа недоступны им, как и всякой другой толпе, – они в первую очередь преклоняются, конечно, перед личностями, благодаря которым или ради которых возникли эти творения.

– Мне кажется, – возразила Шарлотта, – вы одной рукой даете этим людям то, что другой от них отнимаете. Вы, видимо, хотели объяснить их столь тягостное для меня любопытство высокими побуждениями, но тут же подвели материально-корыстную основу под их благородный порыв, а это уже ничуть не утешает меня и даже кажется мне обидным.

– Уважаемая, – сказал он, – о столь двусмысленном создании, как человек, едва ли можно говорить недвусмысленно, и, право же, такая его оценка ничуть не погрешает против гуманности. Мне думается, что видеть не только положительные и отрадные проявления жизни, но и ее изнанку с подчас непрезентабельными узлами и путаницей ниток, отнюдь не значит быть мрачным мизантропом, а скорее – другом всего живущего. У меня есть основания заступаться

за этих зевак, там у ворот, ибо только мое достаточно высокое общественное положение разнит меня от них и, не стой я сейчас по счастливой и завидной случайности здесь перед вами, я смешался бы с толпой там, внизу, и меня тоже отгонял бы от двери фельдфебель. Порыв, приведший сюда этих людей, определил, пусть в несколько более возвышенном и утонченном виде, и мое поведение, когда час назад мой парикмахер, за бритьем, сообщил мне городскую сенсацию: в восемь часов утра прибыла в почтовой карете и остановилась в «Слоне» Шарлотта Кестнер. Я знал так же хорошо, как он, как весь Веймар, знал и глубоко чувствовал, что значит это имя. Мне больше не сиделось в моих четырех стенах, и, прежде нежели я успел отдать себе отчет в своих действиях, я уже был одет и спешил сюда засвидетельствовать вам свое почтение – почтение незнакомца с родственной судьбой, даже брата, чье существование на иной, мужской, лад также причастно великой жизни, которой дивится весь мир, – передать вам братский привет человека, чье имя, имя друга и помощника, грядущие поколения вынуждены будут упоминать всякий раз, когда речь пойдет о Геркулесовых подвигах титана.

Шарлотте, несколько неприятно задетой, показалось, что при этих тщеславных словах складка вокруг губ доктора Римера углубилась, словно в его претенциозном требовании к потомству уже заключалось сомнение в том, что оно таковое выполнит.

– Ай, ай, – сказала она, взглянув на гладко выбритое лицо ученого мужа. – Ваш парикмахер, видно, болтун! Ну, да это свойственно его профессии. Но всего час назад? Похоже, господин доктор, что я познакомилась с любителем сладко поспать?

– Не смею запыряться, – ответил он и как-то понуро улыбнулся.

Они сели на стулья с резными спинками, у столика, под портретом великого герцога, на котором он был изображен еще юношей, в высоких сапогах и при орденской ленте, облокотившись на античный постамент, отягощенный всевозможными воинственными эмблемами. Гипсовая Флора в складчатой тунике украшала скупой меблированную, но украшенную богатым мифологическим орнаментом комнату. Белая колоннообразная печка, обвитая мраморной гирляндой, в противоположной нише являла собою как бы pendant к богине.

– Не смею запыряться, – продолжал Ример, – в этой моей слабости к утреннему сну. И если б можно было сказать: «придерживаться» слабости, я выбрал бы именно это выражение. Не покидать постели при первом крике петуха – доподлинная привилегия свободного человека, занимающего видное общественное положение. Я позволял себе роскошь спать до наступления дня, даже когда проживал на Фрауенплане, – хозяин дома должен был предоставить мне эту вольность, хотя сам он, в соответствии со своим точным, чтобы не сказать педантическим, культом времени, начинал день несколькими часами раньше. Мы, люди, устроены не одинаково. Один находит удовлетворение в том, чтобы опережать других, и садится за работу, когда весь дом еще спит, другой любит посибаритствовать и понежиться в объятиях Морфея, даже когда докучная необходимость уже стучится в дверь. Главное – это терпимое отношение друг к другу, – а в умение быть терпимым учитель, надо сознаться, истинно велик, хотя от этой его терпимости иной раз становится не по себе.

– Не по себе? – обеспокоенно переспросила она.

– Неужто я сказал: не по себе? – удивился Ример, рассеянно оглядывавший комнату, и воззрился на Шарлотту своими широко расставленными, чуть выпуклыми глазами. – В его близости чувствуешь себя превосходно – разве иначе человек столь нервной конституции, как я, мог бы девять лет, почти бессменно, состоять при нем? Да, да, превосходно! Правда, есть высказывания, которые сначала нуждаются в решительном преувеличении, чтобы затем свестись почти к столь же решительному ограничению. Это крайность, включающая в себя свою противоположность. Истина, уважаемая, не всегда довольствуется логикой; чтобы не отступить от истины, приходится временами себе противоречить. Высказывая эту мысль, я не более как ученик того, о ком мы сейчас говорили; он нередко произносит сентенции, содержащие в себе свою противоположность, из любви к правде или из своеобразного вероломства – этого я не

знаю и знать не могу. Желательнее предположить первое, ибо он и сам считает, что куда труднее и честнее умиротворить людей, нежели смутить их... Я боюсь отклониться в сторону. Что касается меня, то я не поступаюсь правдой, говоря о великом счастье, которое испытываешь вблизи от него, – хотя и здесь наталкиваешься на мучительную противоположность, тяжелое чувство, до такой степени тяжелое, что трудно становится усидеть на стуле и так и порываешься бежать. Дражайшая госпожа советница, это прочные противоречия, они держатся девять лет, тринадцать лет, ибо их сменяют любовь и восхищение, которые, как гласит Писание, превыше разума...

Он запнулся. Шарлотта молчала, во-первых, потому, что ждала продолжения, во-вторых, потому, что мысленно сравнивала его одновременно уклончивые и уязвленно-язвительные вести из того далекого мира со своими воспоминаниями.

– Что касается его терпимости, – начал он снова, – чтобы не сказать: склонности к попустительству, – видите, я рассуждаю вполне логично и отнюдь не теряю нити, – то здесь надо различать между толерантностью, порождаемой смирением, – я имею в виду христианское, в широком смысле христианское чувство собственной греховности и потребности в индульгенции, – нет, даже не это; в сущности, я говорю о различии между толерантностью, порождаемой любовью, и другой, которая вызвана равнодушием, небрежением и ранит сильнее любой строгости и нетерпимости, которая, исходя от Бога, была бы невыносимой и уничтожающей, но и тогда, по всем нашим понятиям, в ней оставалась бы доля любви, – а здесь и этого нет; такая терпимость в равной мере состоит из любви и презрения и ничего божественного в себе не имеет; может быть, потому-то ее не только сносят, ей предаются в пожизненное рабство... Что я хотел сказать? Не напомним ли вы мне, почему мы об этом заговорили? Сознаюсь, на мгновение я все-таки утратил нить...

Шарлотта смотрела, как он сидел, скрестив свои холеные руки на набалдашнике трости и уставившись в пространство натруженными воловьими глазами, и вдруг поняла отчетливо и ясно, что он пришел не ради нее, но воспользовался ею как предлогом, чтобы поговорить о своем господине и учителе и, быть может, таким путем приблизиться к решению долголетней загадки, тяготевшей над его жизнью. Она внезапно почувствовала себя в роли Лотхен-дочери, прознавшей все предлоги и поводы и презирающей благой самообман. Она почти готова была просить у него прощения, ибо, говорила она себе, мы не повинны в своей прозорливости, навязанной нам извне и вопреки нашей воле. Вдобавок и сознание, что тобою пользуются как «средством», тоже не очень лестное сознание. Тем не менее она не вправе упрекать этого человека, ибо приняла его также не ради него, как не ради нее он пришел сюда. Ведь и ее привело в эти стены беспокойство, вечно тревожащее воспоминание о неразгаданном и нечаянно разросшемся прошлом, неодолимое желание оживить его и «экстравагантно» связать с настоящим. Они были в известной мере соучастники, гость и она, и сошлись здесь, точно по сговору, во имя чего-то постороннего, мучительно счастливающего, загадочного, державшего их обоих в болезненном напряжении, что могло быть понято и до какой-то степени разгадано только с помощью взаимных усилий. Она натянуто улыбнулась и сказала:

– Ничего нет удивительного, мой милый господин доктор, что вы теряете нить разговора, если по поводу такой невинной и маленькой слабости, как любовь хорошенько поспать, пускаетесь в столь пространные рассуждения и разбирательства. Ученый, сидящий в вас, сыграл с вами злую шутку. Но на чем мы остановились? Вы могли потакать этой слабости, как вам угодно было выразиться, – я бы просто назвала ее привычкой, – в той вашей прежней должности, но ведь теперь, если я не ошибаюсь, вы состоите на казенной службе в качестве преподавателя здешней гимназии, не правда ли? Как же вам удастся совместить это пристрастие, которому вы, видимо, придаете значение, с вашей нынешней деятельностью?

– С грехом пополам, – отвечал он, закидывая ногу за ногу и кладя на колени трость, которую он теперь держал за оба конца, – и только ввиду уважения к прежней моей должно-

сти, несравненно более видной и слишком хорошо известной, чтобы не снискать мне права на эту небольшую поблажку. Госпожа советница верно заметила, – выпрямляясь, добавил он, ибо сидеть с палкой на коленях считал не совсем учтивым и принял эту позу лишь на минуту, в знак уважения к собственной персоне, – уже четыре года, как я служу в здешней гимназии и живу своим домом. Соображения, потребовавшие этой перемены, были неоспоримы. При всех духовных и материальных преимуществах моего житья в доме великого человека, для меня, уже достигшего тридцатидевятилетнего возраста, было в известной мере делом мужской чести – этого наиболее уязвимого из чувств, уважаемая, – так или иначе встать на собственные ноги. Я говорю «так или иначе», ибо мои желания, мои мечты шли дальше этого учительского прозябания и так и не освоились с ним, – я стремился к более высокому наставничеству, к академической карьере – по следам моего почтенного учителя, знаменитого филолога Вольфа из Галле. Но рок судил иначе. Это может показаться странным, не правда ли? Можно было бы предположить, что общеизвестное долголетнее сотрудничество с тайным советником послужит наилучшим трамплином для достижения моей заветной цели, – надо ли говорить, что столь высокая дружба и покровительство с легкостью могли бы доставить мне желанное место в одном из немецких университетов? Мне кажется, я читаю именно этот вопрос в ваших глазах? Могу только сказать: вопреки всем человеческим ожиданиям и расчетам, я не был удостоен этого поощрения, протекции, этого вознаграждающего предстательства, – но что пользы предаваться горьким размышлениям! Правда, временами – о да! – я день и ночь ломаю себе голову над этой загадкой. Но это бессмысленное занятие, оно ни к чему не приводит, да и не может привести. Великим людям недосуг думать о личной жизни и о личном счастье своих помощников, сколько бы пользы те ни принесли им и их делу. Видимо, они должны прежде всего думать о себе, но если для них, в ущерб нашим личным интересам, на весах перетягивает нужда в наших услугах, наша незаменимость, то это так почетно, так лестно, что мы охотно становимся на их точку зрения и подчиняемся их воле с горькой, но в то же время и гордой радостью. Так, например, по зрелом размышлении, я счел себя вынужденным отклонить недавно предложенную мне вакансию в Ростокомском университете.

– Почему?

– Потому, что я хотел остаться в Веймаре.

– Но, господин доктор, простите меня, тогда вам не на что жаловаться.

– А разве я жалуясь? – опять удивленно переспросил он. – Это отнюдь не входило в мои намерения; вы, видимо, неправильно поняли меня. Я всего только размышляю о противоречиях жизни, сердца и высоко ценю возможность потолковать об этом с умной женщиной. Расстаться с Веймаром? О нет! Я люблю его, я привязан к нему. За тринадцать лет я сроднился с жизнью этого города. Я приехал сюда уже тридцатилетним человеком из Рима, где был воспитателем детей прусского посла господина фон Гумбольдта. Его рекомендациям я обязан своим пребыванием здесь. Недостатки и теневые стороны? Веймар имеет недостатки и теневые стороны, свойственные человечеству – и прежде всего человечеству провинциальному. Пусть это мерзкое гнездо тупоумных придворных льстецов, спесивых и отсталых, пусть честному человеку здесь так же трудно, как и всюду на свете, – может быть, даже труднее; наверху, как и полагается, сидят плуты и бездельники, пожалуй, более откровенные, чем где-либо. Зато это хорошая питательная среда, славный городок, – право же, я не представляю себе другого места, где бы я теперь мог или хотел жить. Видели ли вы уже что-нибудь из наших достопримечательностей? Дворец? Экзерцирплац? Наш театр? Прекрасные парковые насаждения? Ну да вы еще успеете на все это насмотреться. Вы подивитесь кривизне наших улочек. Но приезжему следует помнить, что наши достопримечательности примечательны не сами по себе, а тем, что они веймарские. С чисто архитектурной точки зрения наш дворец не бог весть что, театр хотелось бы видеть более грандиозным, что же касается Экзерцирплаца, так это просто-напросто нелепая затея. На первый взгляд кажется непонятным, почему такой человек, как я, всю свою

жизнь трется среди этих кулис и декораций и чувствует себя до того приверженным к ним, что даже отказывается от назначения, венчающего мечты и желания, владевшие им с юных лет. Я возвращаюсь к Ростку, ибо мне кажется, что вы, госпожа советница, не совсем уяснили себе мотивы моего отказа. Видите ли, я отклонил столь почетную пропозицию под известным давлением, а именно под давлением обстоятельств. Принять ее мне было запрещено, – я сознательно пользуюсь безличной формой, ведь существуют вещи, которые не приходится запрещать, ибо они сами по себе под запретом; впрочем, запрет может и здесь сказаться во взгляде или mine почитаемого тобою человека. Не всякий, уважаемая, рожден для того, чтобы идти своим путем, жить своею жизнью, быть кузнецом собственного счастья. Или, вернее, человек ничего не знает наперед. Он строит планы, носится со своими надеждами и вдруг неожиданно-негаданно делает открытие, что его личная жизнь и личное счастье состоят в отказе от того и от другого. Для такого человека, как это ни парадоксально, личное состоит в отречении от самого себя, в служении делу, которое не является ни его делом, ни им самим; ибо это дело сугубо личное, более того – личность, отчего и служение ему становится механическим, подчиненным, – обстоятельство, искупаемое чрезвычайно высокой честью, с которой в глазах современников и потомства связано служение столь удивительному делу. Необыкновенной честью! Можно было бы, конечно, возразить, что честь человека в том, чтобы жить собственной жизнью, заниматься своим делом, пусть скромнейшим. Но судьба научила меня, что есть две чести – горькая и сладостная. И я мужественно избрал горькую, если человек вообще избирает, а не судьба делает за него выбор, не оставляя ему другого. Требуется много житейского такта, чтобы приспособиться к подобным велениям судьбы, примириться со жребием, вынутым ею, и прийти, если можно так выразиться, к компромиссу между горькой честью и сладостной, хотя к последней, несмотря ни на что, устремляются наши помыслы и честолюбие. К ней тяготеет наше мужское самолюбие, и оно-то и привело меня к несогласиям и недоразумениям, положившим предел моему долголетнему пребыванию в доме на Фрауенплане, и заставило меня довольствоваться местом преподавателя гимназии, к чему я никогда не имел влечения. Вот вам один из неизбежных компромиссов – впрочем, его уважает и мое начальство, так что расписание греческих и латинских уроков составляется с учетом моих почетных обязанностей, продолжающихся несмотря на то, что я больше не живу на Фрауенплане. В дни, когда, как, например, сегодня, там во мне не нуждаются, мне дается возможность воспользоваться светской прерогативой утреннего сна. Надо добавить, что я пошел еще дальше в этом согласовании горькой и сладостной чести, – назовем ее честью мужской, – основав собственный домашний очаг. Да, вот уже два года, как я состою в браке. Но и здесь, уважаемая, вы увидите все своеобразие «жизненного компромисса», в моем случае особо подчеркнутое. Упомянутый шаг должен был утвердить мою самостоятельность и помочь мне эмансипироваться от того дома горькой чести, на деле же он еще теснее связал меня с ним. Короче говоря, оказалось, что этот шаг ничуть не удалил меня от упомянутого дома, так что о шаге в собственном смысле этого слова, по существу, не может быть и речи. Дело в том, что Каролина, моя супруга, – ее девичья фамилия Ульрих, – дитя все того же дома, юная сирота, несколько лет назад принятая туда в качестве компаньонки покойной советницы. Через некоторое время выяснилось непреложное желание всего дома: пристроить сироту. На лицах домочадцев, в их взглядах я читал, что во мне видят подходящую партию, и это пожелание тем легче вступило в компромисс с моим стремлением к самостоятельности, что девушка мне и в самом деле приглянулась... Но ваша доброта и терпение, уважаемая госпожа советница, побуждает меня излишне много говорить о себе...

– Нет, нет, прошу вас, – торопливо отвечала Шарлотта. – Я слушаю с большим интересом.

На деле она слушала с легким неудовольствием или, во всяком случае, со смешанными чувствами. Претензии и желчность этого человека, его тщеславное бессилие и беспомощная борьба за свое достоинство сбивали ее с толку, внушали ей презрение вместе с поначалу недру-

желюбным состраданием, которое, однако, постепенно перерождалось в чувство солидарности с посетителем и в известную удовлетворенность от сознания, что его манера выражаться давала и ей право – безразлично, пожелает она им воспользоваться или нет, – высказаться и облегчить свою душу.

Несмотря на это, она испугалась оборота, который он, словно угадав ее мысли, попытался дать разговору.

– Нет, – произнес он, – я злоупотребляю нашим положением жертв почетной блокады, блокады любопытства – военные события не настолько изгладились из нашей памяти, чтобы мы не могли спокойно, даже с юмором, примениться к подобной ситуации... Я хочу сказать, что плохо воспользуюсь благосклонностью мгновения, если не в меру добросовестно отнесусь к своему долгу отрекомендоваться вам. Право же, меня привело сюда желание не говорить, а видеть, слушать. Я назвал мгновение благосклонным, хотя на самом деле его следовало бы назвать драгоценным. Ведь вот я один на один с существом, к стопам которого несут свое расстроганное благоговение и почитание все слои общества – от детски наивных масс до просвещеннейших людей эпохи, – с женщиной, имя которой стоит в начале или почти что в начале истории гения. Это имя навеки вплетено богом любви в его жизнь, а следовательно, и в историю становления отечественного духа, в царство немецкой мысли. И я, кому в свою очередь суждено было на свой, мужской, лад сыграть роль в истории и нередко служить советчиком герою, я, так сказать, вдыхающий тот же героический воздух, – как мог я не ощутить неудержимого влечения склониться перед вами, лишь только весть о вашем приезде коснулась моих ушей, – не увидеть в вас старшую сестру, мать, если хотите, близкую, родную душу, которой я стремился о многом поведать, но еще больше – услышать от нее... Вот о чем я хотел спросить вас – вопрос уже давно вертится у меня на языке, – скажите мне, дорогая госпожа советница, скажите мне в отплату за мои, правда, куда менее интересные признания... Мы знаем, все знаем, всему человечеству известно, сколь много вы и ваш покойный супруг выстрадали из-за нескромности гения, из-за его, с обычной точки зрения трудно оправдываемого, поэтического своеволия, позволившего ему, не задумываясь, выставить ваши души, ваши взаимоотношения напоказ всему свету, буквально всему земному шару, и вдобавок смешать правду и вымысел с тем опасным искусством, которое умеет сообщать поэтический образ правдивому, а вымышленному придавать вид действительного, так что различие между тем и другим оказывается полностью снятым, сглаженным. Короче говоря, сколь много вы выстрадали из-за его беспощадности, пренебрежения верностью и верой, в которых он, конечно, был виновен, когда за спиной друзей втихомолку начал одновременно и возвеличивать, и разоблачать то деликатнейшее, что может объединить троих людей... Все знают это, уважаемая, и все вам сочувствуют. Скажите мне, умоляю вас: как справились вы и покойный советник с этим гнетущим открытием, с этой участью насильственных жертв? Я хочу сказать: как и насколько удалось вам привести в согласие боль от жестоко нанесенной раны, обиду видеть свою жизнь обращенной в средство для достижения цели с иными, позднейшими чувствами, которые должно было возбудить в вас такое возвышение, такое могучее прославление вашей жизни? Если мне суждено будет от вас услышать...

– Нет, нет, господин доктор, – поспешно возразила Шарлотта, – во всяком случае не теперь. Когда-нибудь в другой раз. Поверьте, это отнюдь не *façon de parler*¹⁹, когда я говорю, что слушаю вас с живейшим вниманием, ведь ваши взаимоотношения с гением, несомненно, более интересны и примечательны.

– Это весьма спорно, уважаемая.

– Не будем обмениваться комплиментами. Не правда ли, вы родом из Северной Германии, господин профессор? Я заключила это по вашему произношению.

¹⁹ Манера выражаться (*фр.*).

– Я силезец, – с достоинством отвечал Ример после короткой паузы. Его тоже одолевали двойственные чувства. Ее уклончивый ответ задел его; зато ее просьба продолжать говорить о себе не могла не прийти ему по вкусу.

– Мои добрые родители, – продолжал он, – не пользовались изобилием благ земных. Не могу выразить, как бесконечно я признателен им, все положившим на то, чтобы дать мне возможность развить прирожденные способности. Мой учитель, тайный советник Вольф из Галле, возлагал на меня большие надежды. Моим заветным желанием было продолжать его дело. Карьера университетского преподавателя почетна и оставляет досуг для общения с менее постоянными музами, милостью которых я не совсем обойден, – она всего сильнее влекла меня, но где взять средства на то, чтобы долгие годы стоять в притворах храма? Мой большой греческий словарь – его научная известность, быть может, коснулась и вашего слуха, я издал его в четвертом году в Иене – занимал меня уже тогда. Недоходная слава, мадам! Я добился ее благодаря досугам, которые мне давала моя должность домашнего учителя при детях господина фон Гумбольдта, назначенного послом в Рим. Должность эту мне устроил Вольф. В таком звании я прожил несколько лет в Вечном городе. Засим воспоследовала новая рекомендация – моего дипломатического патрона его знаменитому веймарскому другу. Это было осенью 1803 года, достопамятной для меня, достопамятной, может быть, и для будущей, более подробной истории немецкой литературы. Я пришел, представился, внушил доверие. Предложение войти в круг домочадцев на Фрауенплане явилось следствием моей первой беседы с великим человеком. Мог ли я не ухватиться за него? У меня не было выбора. Иная, лучшая перспектива мне не открывалась. Должность школьного учителя я считал, по праву или нет, ниже своего достоинства, ниже своих дарований...

– Но, господин доктор, правильно ли я вас понимаю? Разве вы не были счастливы деятельностью, многим более почетной и привлекательной, чем всякая другая, не говоря уж об учительстве.

– Разумеется, уважаемая. Я был счастлив. Счастлив и горд. Подумать только, ежедневные встречи, ежедневное общение с таким человеком! Я сам был достаточно поэтом, чтобы постичь всю его беспримерную гениальность. Я показал ему образцы своего таланта, которые, мягко говоря, даже если откинуть то, что следовало бы отнести за счет его удивительной лояльности, видимо, понравились. Счастлив? Я был упоен! На какую заметную, более того – завидную позицию в мире научном и светском возводила меня эта близость! Однако позвольте мне быть откровенным, и здесь имелись свои шипы, а именно: отсутствие выбора. Разве не верно, что необходимость испытывать благодарное чувство несколько умалает таковое, лишает его элемента радости? Будем откровенны. Если тот, кому вы обязаны величайшей благодарностью, извлекает для себя выгоду из нашего подчиненного положения, то нас это больно ранит. Его вины здесь нет, ответственность несет судьба, неравномерно распределившая свои дары. Но он использует ситуацию... Это надо пережить самому... Нет, сударыня, не будем заниматься нравоучительными рассуждениями! Почетным и возвышающим было то, что наш великий друг, видимо, нуждался во мне. Формально моей задачей было преподавание латинского и греческого его сыну Августу, единственному оставшемуся в живых из детей мамзели Вульпиус. Но, как ни слабы были познания моего ученика, я вскоре понял, что этой задаче, как весьма несущественной, придется отступить перед более прекрасными и значительными обязанностями служения отцу. Таково, разумеется, было и первоначальное намерение. Хотя мне известно письмо, написанное им в свое время моему учителю и благодетелю в Галле, где он обосновывал мое приглашение недостаточными классическими познаниями мальчика, – бедой, как он выразился, которой он не умел помочь. Но это было просто вежливостью по отношению к великому филологу. На деле маэстро не придает большого значения систематическим школьным занятиям и воспитанию. Скорее он хотел бы, чтобы юношество на свободе удовлетворяло естественную жажду знаний, которую он в нем предполагает. Вот вам новый пример его склон-

ности к попустительству, его толерантности! Может быть, здесь сказывается его доброта, – я этого не отрицаю, – великодушие, снисходительность; он благосклонно принимает сторону молодежи против школьной муштры и педантства. Весьма возможно. Но сюда примешивается и нечто другое, менее похвальное, – известная пренебрежительность, недооценка молодежи и ее внутренней жизни. Ибо он все же не понимает прав и обязанностей юношества, придерживаясь того мнения, что дети существуют лишь для родителей, что их единственная задача – дорасти до них и мало-помалу впитать в себя их жизнь...

– Уважаемый господин доктор, – вставила Шарлотта, – везде и всегда, невзирая ни на какую любовь, между родителями и детьми существуют разногласия и непонимание, известная нетерпимость детей к личной жизни родителей, в свою очередь склонных с пренебрежением относиться к их особым правам.

– Без сомнения, – рассеянно отвечал гость, подняв глаза к потолку. – Я часто беседовал с ним в экипаже или в его рабочей комнате по вопросам педагогики – беседовал, а не спорил, ибо с благоговейным любопытством выслушивать его мысли мне было интереснее, чем настаивать на своих. Под формированием юноши он подразумевает процесс созревания, который, при благоприятных обстоятельствах, – а обстоятельства своего сына он справедливо расценивает как благоприятнейшие (поскольку, разумеется, речь идет об отце, ибо что касается матери... Ну да оставим это!), – и считает возможным в той или иной степени предоставить процесс его естественному развитию. Август – его сын. Этой формулой для него исчерпывался весь смысл существования мальчика, юноши, единственное назначение которого быть его сыном и со временем снять с него тяготы будничных дел. Эту мысль Август впитал с малолетства. Об индивидуальном формировании характера, о воспитании ради него самого, в предвидении его будущих целей, никто, собственно, никогда не думал. А в таком случае к чему принуждение и систематическая школьная муштра? Не надо забывать, что отец в юности тоже не знал этого. Будем называть вещи своими именами: систематического воспитания он не получил ни в детском, ни в отроческом возрасте и лишь немного изучил основательно. Это никому не бросится в глаза или лишь при очень долгом и близком общении и при собственных, действительно глубоких научных познаниях. Ибо само собой разумеется, что с его острым восприятием, прочной памятью, с необычайной живостью его духа, он множество знаний схватил на лету, ассимилировал их и благодаря качествам уже иного порядка – остроумию, обаятельности, владению формой, красноречию – пользуется ими с большим успехом, нежели другой ученый, обладающий подлинными знаниями.

– Я слушаю вас, – произнесла Шарлотта, довольно успешно пытавшаяся выдать дрожание головы, снова ставшее заметным, за подтверждающие кивки. – Я слушаю вас с интересом, объяснение которому все время стараюсь подыскать. Ваша манера говорить проста, и все же в ней есть что-то волнующее, ибо невольно волнуешься, когда о великом человеке говорят не с предвзятой восторженностью, а трезво, сухо, с реализмом, основанном на интимном опыте ежедневного общения. Когда я начинаю вспоминать и сверяюсь с собственными наблюдениями, пусть очень давнишними, – но ведь они как раз относились к молодому человеку, о чьем свободном самовоспитании вы говорите, – то, по-моему, его пример лишь подтверждает превосходство этих личных прав над более строгой системой воспитания. Как бы то ни было, но этого юношу, этого двадцатитрехлетнего молодого человека я знавала, долго приглядывалась к нему и могу засвидетельствовать: систематического учения, трудолюбия, служебного рвения за ним не замечалось. В Вецларе он, собственно, ничего не делал – и здесь, я не хочу это замалчивать, его значительно превосходили коллеги, практиканты и стряпчие, кого ни назови, – Кильмансегге, легационный секретарь Готтер, тоже писавший стихи, Борн и другие, даже несчастный Иерузалем, не говоря уже о Кестнере, который и тогда вел серьезную трудовую жизнь и однажды заставил меня призадуматься, заметив, как легко кружить головы женщинам, быть душою общества, всегда свежим, веселым, блестящим и остроумным, когда тебе живется так

вольготно на божьем свете и ты наслаждаешься полной свободой, в то время как другие приходят к любимой после хлопотливого дня, уставши от деловых забот, и уже не в силах показать ей себя с наивыгоднейшей стороны. Я всегда знала, что блага здесь распределены неравномерно, и обращала это в пользу моего Ганса Христиана, хотя и сомневалась, чтобы другие молодые люди при большем досуге – а ведь какой-то досуг они все же имели! – могли выказать столь высокие душевные качества, были бы способны на такую теплую искреннюю шутку, как наш друг. И все же часть его пылкости я относил за счет его незанятости и того, что он мог невозбранно, всеми силами своей души предаваться дружбе, – но только часть, ибо я понимала, что прекрасная сила его сердца и – как мне это назвать? – его жизненный блеск не исчерпываются таким объяснением. Ведь даже когда он, печальный и скорбный, поносил весь мир и всех людей, он все же был интересней, чем наши трудолюбцы по воскресным дням. Это я знаю так же твердо, как знала тогда. Он часто напоминал мне дамасский клинок, – я уж не упомяну теперь, в чем тут было сходство, – но также и лейденскую банку, и это уж по ассоциации с электрическим зарядом, ибо он всегда был как бы заряжен. Казалось, стоит до него только дотронуться, и ты почувствуешь удар, словно от прикосновения к какой-то там породе рыб. Неудивительно, что другие, вообще говоря, превосходные люди в его присутствии или даже отсутствии казались вялыми. И еще у него был, когда я ворошу свои воспоминания, необычайно открытый взгляд – я говорю «открытый» не потому, что его глаза, карие и близко посаженные, были особенно большими; но именно взгляд был очень открытый и одухотворенный, в полном смысле этого слова, а когда в них светилась сердечность, они становились совсем черными. Что, у него еще и поныне такие глаза?

– Глаза, – повторил Ример, – глаза временами могучие. – Его собственные, остекленевшие и выпуклые, меж которых залегла бороздка мучительных раздумий, показывали, что он слушал невнимательно, отдавшись течению своих мыслей. Дрожание головы собеседницы он едва ли заметил, ибо его большая белая рука, когда он снял ее с набалдашника, чтобы чуть заметным прикосновением безымянного пальца благовоспитанно устранить легкое почесывание в носу, тоже дрожала. Шарлотта это заметила и была так неприятно поражена, что поспешила приостановить аналогичное явление у себя: при старании это ей вполне удавалось.

– Здесь речь идет о феномене, – продолжал свое Ример, – стоящем того, чтобы в него углубиться, и способном заставить человека часами предаваться размышлениям, пусть бесплодным и ни к чему не ведущим, так что это занятие должно было бы скорее называться мечтательством, чем подлинным размышлением, иными словами, о форме и обаянии, или печати божества, которую природа с улыбкой – так невольно себе это представляешь – накладывает на предпочтенный ею дух, отчего он становится прекрасным духом, – о слове, имени, которое мы машинально произносим для обозначения привычной и приятной человечеству категории; хотя вблизи, при более внимательном рассмотрении, подобный феномен остается непостижимой, тревожной и, в личном плане, даже оскорбительной загадкой...

Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости; что ж, и здесь, без сомнения, царит несправедливость, естественная, а потому всеми почитаемая, – восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено изо дня в день видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения ценностей, обесценения и переоценки, которые ты принимаешь охотно, более того – с невольным восторгом, ибо отказать им в известном радостном признании значило бы идти наперекор Господу и природе, и все же, из чувства справедливости, тайком, в тиши не можешь не порицать их. Ты считаешь себя обладателем знания, достигнутого упорным трудом, из чистой любви к науке, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. И вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смехотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или тобою же ему поставленных, – ибо для него ты не более как поставщик научных сведений, – вдвое, втрое

большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему же? Да благодаря все тем же форме и обаянию, – впрочем, это только слова! – нет, попросту благодаря тому, что он, а никто другой возвратил миру случайно подхваченное и, придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а властитель в результате всех их трудов знай себе чеканит дукаты!.. Королевская привилегия! Но в чем ее суть? У нас много говорят о личности, он сам любит говорить о ней и, как известно, назвал ее высшим счастьем смертных. Таков его приговор, а следовательно, приговор, обязательный для человечества. Но это не определение. В лучшем случае это описание. Да и как определить таинство? Без таинств человеку, видно, не обойтись, и если христианские ему наскучили, он тешит себя языческими или природным таинством личности. О христианских наш властитель умов и слышать не хочет. Поэт или художник, преданный христианской мистике, обречен на его немилость. Но таинство природы он ставит очень высоко, ибо это его таинство... Величайшее счастье – за меньшее мы, смертные, не смеем почитать это таинство! Иначе как объяснить, что просвещенные умы и люди науки считают не ограблением себя, но великой для себя честью толпиться вокруг прекрасного гения, обаятельного человека, состоять в его штабе, в его свите, приносить ему в дар свои знания, быть для него живыми словарями, всегда имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни с научным хламом. Ну как объяснить, что человек, подобный мне, с блаженной улыбкой – мне самому она иногда кажется дурацкой – год за годом служит ему простым писцом...

– Позвольте, дражайший господин профессор, – прервала его пораженная Шарлотта, не пропустившая ни слова из его монолога. – Не хотите же вы сказать, что вы все это время и в самом деле несли у него незначительные и недостойные вас канцелярские обязанности?

– Нет, – отвечал Ример после паузы, собравшись с мыслями, – этого я сказать не хочу. И если я сказал нечто подобное, то, значит, зашел слишком далеко. Не следует чрезмерно заострять понятия. Во-первых, добровольные услуги, которые оказываешь великому и дорогому тебе человеку, не знают табели о рангах. Тут каждый так же мал и так же велик, как другой. Не об этом речь. К тому же писать под его диктовку вообще неподходящее занятие для простого стрекулиста, слишком почетное для него занятие. Возложить эту обязанность на какого-нибудь секретаря Джона, Крейтера или, наконец, простого лакея значило бы метать бисер перед свиньями. При одной мысли об этом человека образованного, способного мыслить и чувствовать, охватывает благородное негодование. Только ученому, только такому человеку, как я, способному оценить всю прелесть, редкость и достоинство этого положения, может быть поручено подобное дело. Эта льющаяся драматическая диктовка любимого, звучного голоса, это неудержимое созидание, прерываемое разве что чрезмерным наплывом чувств, руки, заложенные за спину, взор, устремленный в многоликую даль, это властное и как бы небрежное заклинание слова и образа, эта жизнь в абсолютно свободном и смелом царстве духа, за которой, несмотря на все сокращения, едва поспевает торопливо смоченное перо, так что потом волей-неволей приходится корпеть над переписыванием, – уважаемая, это надо испытать, надо восторженно насладиться этим, чтобы ревниво отнестись к своим обязанностям и не уступать их первому встречному. Правда, следует оговориться и для собственного успокоения напомнить себе, что речь идет отнюдь не о творческом миге, что здесь происходит не чудо, а лишь рождение на свет божий того, что годами, может быть, десятилетиями, вынашивалось, пестовалось и, частично, в тиши, еще до диктовки, было тщательно отделано и продумано. Не надо забывать, что здесь имеешь дело не с вдохновенно порывистой, а скорее с доступной колебаниям натурой, к тому же беспрестанно взвешивающей, откладывающей, нерешительной и прежде всего легко утомляющейся, неспособной сосредоточиться, неспособной подолгу задерживаться на одном и том же задании, – с натурой, которой, при разнообразнейшей, мятущейся во все стороны деятельности, требуются обычно долгие годы, чтобы завершить задуманный труд. Это натура, склонная к замедленному росту и тихому развитию, которой нужно долго, может быть, с юных лет,

отогревать замысел на своей груди, прежде чем приступить к его выполнению. Для подобного характера прилежание равносильно терпению, то есть способности – при величайшей потребности в разнообразии – к неустанному, кропотливому труду над одним и тем же объектом в течение непомерно долгого времени. Все это так, верьте мне, ведь я одержимый наблюдатель этой героической жизни. Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повредить ему, что он никому его не открывает, ибо никто другой не может постичь, почувствовать прелесть созревающего, столь обольстительную для пестуна. Но следует добавить, что это молчание не так уж нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю о нашем «шивописце» Майере, как его прозвали за цюрихский диалект, – итак, этот Майер, которому он почему-то приписывает Бог весть какие заслуги, похваляется, что великий друг чуть ли не целиком поведал ему «Избирательное сродство», когда еще только его вынашивал. Возможно, что это и так, он и мне однажды увлекательнейшим образом изложил план этого романа и к тому же до того, как открыть его Майеру, – разница только в том, что я не похваляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии тайны, в такой сообщительности и, если хотите, болтливости меня тешит и трогает очевидная чисто человеческая тяга «поделиться», наивная доверчивость. Утешительно и радостно, радостно до восторга! – видеть эти человеческие черты в великом гении, ловить его на маленьких хитростях и повторениях, подмечать экономию, которая наводится даже в таком, необозримом для нас духовном хозяйстве. С месяц назад, шестнадцатого августа, в разговоре со мной он высказал одно замечание о немцах, достаточно колкое, – как известно, он не всегда лестно отзывался о своей нации. «Наших милых немцев, – сказал он, – я знаю: сначала они молчат, потом осуждают, потом отклоняют, потом обворовывают и замалчивают». Это буквально, я записал его слова тотчас же после разговора, – во-первых, потому что счел их отменно острыми, а во-вторых, потому что они мне показались блестящим примером его живого и исключительно понятного языка: как остро и точно он тут же на месте определил все стадии дурного поведения немцев. И вдруг я узнаю от Цельтера – в Берлине проживает некий Цельтер, музыкант и хормейстер, которого он, не совсем понятно почему, удостоивает братского «ты»; с такого рода предпочтениями – тут ничего не поделаешь – приходится считаться, хотя поневоле вспоминаешь слова Гретхен: «В толк не возьму, что он находит в нем». Итак, от Цельтера я слышу, что та же фраза, слово в слово записанная мною, как я сказал, шестнадцатого августа, стояла в его письме от девятого того же месяца, адресованном Цельтеру из Теннштедта. Следовательно, эта мысль, видимо, очень ему понравившаяся, была уже написана черным по белому, когда в разговоре со мною он преподнес ее в качестве экспромта – маленькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь *ad notam*²⁰. Вообще же мир даже такого могучего духа – все же мир замкнутый и ограниченный, единое целое, где мотивы повторяются и образы, пусть через большие промежутки времени, возникают вновь. В «Фаусте», во время знаменитого разговора в саду, Маргарита рассказывает возлюбленному о своей сестренке, этом бедном заморыше, которого мать не в состоянии кормить грудью и которого она, Маргарита, растит на «молоке и воде». Какие жизненные дали отделяют это от Отилии, которая с любовью растит сына Эдуарда и Шарлотты, на «молоке и воде»! Молоко и вода! До чего же крепко засело в эту великую голову представление о голубоватой жидкости в бутылке. Молоко и вода... Не напомним ли вы мне, почему я заговорил о молоке и воде и что навело меня на эти, по-видимому, совершенно не относящиеся к делу и праздные подробности?

– Вы говорили о почете, господин доктор, который вам воздастся за вашу помощь и участие в трудах друга моей юности. Но позвольте мне решительно не согласиться с тем, что высказанные вами мысли праздны и лишены интереса.

²⁰ На заметку (*лат.*).

– Не отрицайте, уважаемая! Когда речь заходит о слишком большом, слишком жгучем, невольно растекаешься в празднословии, начинаешь лихорадочно метаться и не только не доходишь до единственно важного и жгучего, не только безрассудно упускаешь его, но сам же начинаешь думать, что все тобою сказанное лишь предлог для того, чтобы обойти молчанием истинно важное и волнующее. И какой же тут несешь несусветный вздор! Это можно сравнить разве что с известным опытом; попробуйте быстро опрокинуть горлышком вниз полную бутылку, и жидкость вытечет не сразу, она задержится в сосуде, хотя путь ей открыт. Ассоциация настолько посторонняя, что я снова чувствую себя сконфуженным. И все же! Как часто люди более значительные, чем я, несоизмеримо более значительные, предаются постоянным ассоциациям. Вот вам пример из моей, как бы побочной, на деле же основной работы: с прошлого года мы приступили к изданию нового собрания сочинений, рассчитанного на двадцать томов. Котта из Штутгарта выпускает его и за это уплачивает кругленькую сумму в шестнадцать тысяч талеров – великодушный, более того, смелый человек! Верьте мне, он приносит немалую жертву, ибо несомненно, что публика о большей части продукции нашего поэта ничего и знать не хочет. Так вот, трудясь над этим собранием, мы вместе, он и я, заново просматривали «Ученические годы»; мы вдвоем перечитали их от альфы до омеги; при этом я не только указывал на ту или иную грамматическую погрешность, но давал и советы по части правописания и пунктуации, в которых наш поэт, признаться, не очень силен. У нас состоялось несколько примечательных бесед о его стиле, причем он очень заинтересовался моим разбором и толкованием. Ведь он мало знает о себе, и ему случалось, по собственному признанию, приступать к работе, например к «Мейстеру», почти в сомнамбулическом состоянии. Поэтому он с ребячливым удовольствием слушает, когда ему остроумно комментируют его же самого, что опять-таки дело не Майера или Цельтера, но филолога. Одному Богу известно, какие дивные часы я провел за чтением романа, составляющего гордость эпохи и на каждом шагу дающего столько поводов к восхищению, хотя – и это бросается в глаза! – описания природы, ландшафты почти вовсе отсутствуют в нем. И раз уже мы заговорили о праздных ассоциациях, уважаемая, какое холодное, неторопливое многословие порою встречается в этой книге! Какое сплетение случайных обрывков мыслей. Ведь сплошь и рядом – это необходимо уяснить себе! – вся прелесть и достоинство состоят здесь лишь в метких и живоительно точных формулировках, давно выношенных и уже не раз произнесенных. Правда, это соединяется с черточками обаятельной новизны, с такой мечтательной смелостью и высоким риском, что дух захватывает, – да, да, в сочетании разумной чинности и неустрашимой отваги, более того, безумия, как раз и заключается источник сладостного смятения, в которое нас повергает этот единственный в своем роде автор. Когда я однажды с подобающей осторожностью высказал ему это, он рассмеялся и возразил. «Милое дитя, – так он и сказал, – что поделаешь, если мои напитки подчас кружат вам головы». То, что он меня, сорокалетнего человека, который кое в чем мог бы наставлять его, называет «милое дитя», может, конечно, показаться странным, но мое сердце это умиляет и наполняет гордостью, ибо, как бы там ни было, в такой короткости растворяется различие между достойными и недостойными услугами. Простая канцелярская служба? Мне невольно становится смешно, уважаемая госпожа советница: ведь она состояла в том, что я в продолжение многих лет вел его корреспонденцию, не только под диктовку, но вполне самостоятельно, за него, вернее, вместо него – от его имени и в его духе. Теперь вы видите, что здесь получается: самостоятельность диалектически переходит в свою противоположность и оборачивается полной обезличенностью – меня вообще уже не существует, и только он говорит моими устами, ибо я орудую оборотами столь старомодно куртуазными и остроумно вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего пера, кажутся более гетевскими, нежели продиктованные им. И так как моя деятельность широко известна в обществе, то нередко возникают мучительные сомнения, им или мною написано данное письмо. Нелепая и тщеславная тревога! – не могу не заметить, ибо в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня тревожат

сомнения, но они касаются проблемы чести, всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из проблем. В свете этой проблемы, вообще говоря, в таком деянии заключается нечто постыдное, во всяком случае временами мне мерещится, что это так. Но если ты подобным путем становишься Гете и пишешь его письма, то опять же трудно представить себе большую честь. Так кто же он, наконец? Кто он, ради которого почитается честью, жертвуя собою, в нем растворяться? Стихи, свидетель Бог, какие дивные стихи! Я тоже поэт, *io sono poeta*, но, признаюсь с сокрушением, несравненно меньший. О, написать «Стучало сердце», или «Ганимеда», или «Ты знаешь край» – хотя бы одно из них, уважаемая, – чего не отдашь за это, с оговоркой, что у тебя есть что отдавать! Франкфуртские рифмы, которые он себе позволяет, ибо он многие слова выговаривает неправильно, у меня не встречаются – во-первых, потому, что я не франкфуртец, а во-вторых, потому, что я не могу их себе позволить. Но разве они единственно человеческое в его творениях? Нет, разумеется, нет! В конце концов, созданное им все же дело рук человеческих и не может слагаться из одних шедевров. Да он и не обольщается на этот счет. «Кто же создает одни шедевры», – справедливо говорит он. Здравомыслящий друг юности, Мерк, – вы его знали, – назвал «Клавиго» дрянью. Впрочем, он и сам, видно, держится такого же мнения, ибо говорит: «Не всему же быть лучше лучшего». Скромность это или что-нибудь еще? Если скромность, то подозрительная. И все же в глубине души он скромнен, скромнен так, как другой не был бы на его месте. Я даже назвал бы его робким. По окончании «Избирательного сродства» он и впрямь оробел и лишь позднее составил об этом романе то высокое мнение, какого он, несомненно, заслуживает. Дело в том, что он восприимчив к похвалам и, даже если раньше его и обуревали сомнения, охотно дает себя убедить, что созданное им – шедевр. Конечно, не следует забывать, что со скромностью у него сочетается самоуверенность, порою доходящая до курьеза. Говоря о своеобразии своей натуры, о некоторых ее слабостях и недостатках, он способен с невиннейшим видом присовокупить: «Все это, надо думать, оборотная сторона моих огромных достоинств». Услышав такое, остаешься сидеть с раскрытым ртом, ужас охватывает тебя перед этой наивностью, хотя ты и стараешься себя уверить, что как раз сочетание необычайной духовной одаренности с подобной степенью простоты и повергает в восхищение. Но можно ли удовлетвориться таким объяснением? И оправдывает ли оно принесение себя в жертву? Почему превыше всех именно он, нередко спрашивал я себя, читая других поэтов, – кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, благородного Маттиссона! Разве в их творениях не слышится милый голос природы, разве теплота и немецкая задушевность звучат только в его поэзии? «Вновь в долинах и кустах...» – это перл, я отдал бы свой докторский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы двух строф этого стихотворения. Но Вандсбеккера «Луна на небе встала» – разве хуже? А мог ли бы он устыдиться «Майской ночи» Гельти: «Если серебряный луч блещет сквозь темень кустов»? Да нисколько! Напротив! Можно только порадоваться, что рядом с ним и другие подают голос, не только не позволяют его величию подавить и искалечить себя, но его наивности противопоставляют свою собственную и поют так, словно его и не существует. За это их голоса следует ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать лишь абсолютную ценность продукта; к нему надо подходить и с нравственной меркой, надо учитывать условия, в которых он создавался. Спрашивается: почему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает его полубогом, возносит его к звездам? Большой характер? Но где он у его героев – у Эдуарда, Тассо, Клавиго, даже у Мейстера или Фауста? Изображая себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда приходят на ум слова Кассия из «Цезаря» великого бритта: «Боги! Я дивлюсь, как человек такой невзрачной стати мог первенство у мира оттягать, презрев людскую гордость».

Наступило молчание. Большие белые руки Римера, с золотым кольцом-печаткой на указательном пальце, опиравшиеся о набалдашник трости, заметно дрожали. Голова старой дамы опять кивала быстро-быстро. Шарлотта заговорила первой:

– Господин доктор, я чувствую себя едва ли не обязанной выступить на защиту друга юности моей и моего мужа, создателя «Вертера», произведения, о котором вы даже не упомянули, хотя оно послужило фундаментом его славы и, по моему убеждению, так и осталось прекраснейшим из всего им написанного, против тех нападок, которым вы – простите меня – подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от этого соблазна или обязанности, – как хотите, – вспомнив, что ваша, я бы сказала, солидарность с великим человеком не уступает моей, что в продолжение тринадцати лет вы были ему другом и помощником и что ваша критика – не знаю, как определить это по-другому, – короче, то, что я назвала реализмом вашего восприятия, основана на преданном восхищении, а потому моя защита выглядела бы смешной и привела бы только к взаимному непониманию. Я простая женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет критики играючи устоит против твоих нападок. Здесь преклонение говорит языком злобы, а хула становится новой формой восхваления.

– Вы очень добры, – отвечал он, – становясь на сторону того, кто нуждается в помощи, и правильно толкуя мою оговорку. Откровенно говоря, я не помню, что я сказал, но из ваших слов заключаю, что, должно быть, зарапортовался. Иногда в мелочах язык шутит с нами недобрые шутки, мы нечаянно придаем комический оборот слову, и в результате нам остается только вторить смеху слушателей. Но в больших вопросах и оговорка принимает большой масштаб, и Бог долго ворочает слова в нашей гортани, покуда мы не начинаем славословить то, над чем хотели надругаться, и хулить то, что намеревались благословить. Собрание небожителей, верно, сотрясается от гомерического хохота над таким бессилием наших уст. Но будем говорить серьезно: мне кажется бесполезным и не адекватным, касаясь великого, только восклицать: «Грандиозно! Грандиозно!» – и пошлым мило тараторить о вершине обольстительности. А ведь речь идет именно об этом – о деликатнейшей форме, в которую великое облекается на земле: о поэтическом гении; о великом в образе высшей обольстительности и обольстительном, возвысившемся до великого. Так живет среди нас гений и глаголет ангельскими устами. Да, сударыня, ангельскими! Откройте наугад его книги, эти миры его творений; возьмите, к примеру, ну, хотя бы «Пролог на театре», – я еще сегодня перечитывал его, дожидаясь парикмахера, – или такую весело-глубокомысленную безделку, как басня о мушиной смерти:

Она сосет, дорвавшись до отравы,
Пригвождена к ней первым же глотком,
Блаженствует, а нежные суставы
Уже давно разбиты столбняком... —

но ведь тут смешная случайность, слепой произвол, что я выхватил именно это, а не другое из необозримого изобилия текущих в руки перлов, – короче, разве все это не сказано ангельскими устами, божественными устами высшей завершенности! Каким чеканом отчеканен любой образ, драма, песня, рассказ, поговорка! И на всем печать индивидуальнейшей обольстительности – Эгмонтской обольстительности! Я так называю ее. «Эгмонт» приходит мне на ум, потому что в нем царит особенно счастливое единство и внутреннее соответствие; отнюдь не безупречная обольстительность героя корреспондирует с тоже отнюдь не безупречной обольстительностью произведения, в котором он действует. Или возьмите его прозу, рассказы и романы, – мы как будто уже касались этой темы, – помнится, я что-то такое говорил и зарапортовался. Не может быть более чарующего изящества, живости ума, более скромной и легкой. В них нет ни помпезности, ни высокопарности, ничего от внешней приподнятости, – хотя внутренне все удивительно возвышенно, и всякий иной стиль изложения, в частности приподнятый, по сравнению с этим стилем кажется плоским, – ничего от торжественности и проповеднического тона, ничего от ходульности и чрезмерности; без огненных бурь и громо-

гласных страстей, в тихом, легком журчании здесь присутствует божество. Можно было бы говорить о трезвости, о приглаженной красивости, если позабыть о том, что его речь тяготеет к крайностям. И все же она избирает срединный путь спокойно, с изящной простотой: ее смелость скромна, отвага совершенна, поэтический такт безошибочен. Возможно, что я продолжаю заговариваться, но, клянусь вам, хотя неистовые клятвы и находятся в несоответствии с затронутой темой, – что я прилагаю такие же старания говорить правду, как и тогда, когда я употреблял как раз обратные выражения. Я говорю, я хочу сказать: у него для всего найден средний регистр, весьма умеренный, весьма прозаический, но это самый причудливо-дерзкий прозаизм на свете: новорожденное слово приобретает какой-то улыбочный колдовской оттенок, становится золотистым, весело призрачным, и абсолютно возвышенное, приятнейшее сдержанное, изящно модулированное, полное детски мудрых чар преподносится нам с чинной дерзновенностью.

– Вы превосходно говорите, господин Ример. Слушая вас, я испытываю благодарность, которую всегда вызывает точность. К тому же ваше изложение свидетельствует о проникновенном знании, о долгом и метком наблюдении. И все же – не пеняйте на меня – опасение, что вы и теперь еще заговариваетесь, касаясь этой исключительно волнующей темы, кажется мне небезосновательным. Не стану отрицать, что удовольствие, с которым я слушаю вас, весьма далеко от настоящего удовлетворения, полного согласия. В вашей хвалебной речи – может быть, именно вследствие ее чрезмерной точности – содержится какое-то умаление, какой-то элемент злословия, втайне меня пугающий и которого я сердцем принять не могу. Сердце подсказывает мне, что вы говорите не то. Пусть это смехотворно кричать о гении: «Грандиозно, грандиозно», пусть вы предпочитаете говорить о нем с педантичностью, в характере которой я, поверьте, не ошибаюсь, ибо знаю, что она порождена любовью. Но, не сердитесь на меня за этот вопрос, разве можно с помощью одной только точности объяснить поэтическое вдохновение?

– Вдохновение, – повторил Ример. Он медленно, как бы с трудом склонил голову к рукам, скрещенным на набалдашнике трости. Но внезапно вздрогнул и отрицательно покачал головой. – Вы ошибаетесь, – произнес он, – он не вдохновенен. В нем есть нечто другое, может быть, высшее; он, ну, скажем, осенен благодарить; но не вдохновенен. Можно ли себе представить Господа Бога вдохновенным? Нет, нельзя. Бог – объект вдохновения, но сам он его не ведает. Нельзя не признать за ним своеобразной холодности и уничтожающего равнодушия. Да и чем прикажете Господу Богу вдохновляться? Чью сторону принимать? Ведь он все, а потому сам себе сторона, на этом он стоит, и его дело, видимо, сводится к всеобъемлющей иронии. Я не богослов, уважаемая, и не философ, но житейский опыт заставлял меня частенько задумываться над единством *всего и ничего*, над *nihil* и, если мне будет дозволено употребить производное от этого мрачного слова, определяющего образ мыслей, мировоззрение, то этот всеобъемлющий дух по праву можно будет назвать духом нигилизма, – из чего вытекает, что ошибочно воспринимать Бога и дьявола как противоположные принципы и что дьявольское по существу лишь обратная сторона, – хотя почему обратная? – божественного. Да и как же иначе? Если Бог *все*, то он тем самым и дьявол, и ясно, что нельзя приблизиться к божеству, не приблизившись к дьяволу; можно даже сказать, что из одного глаза у него глядят небо и любовь, из другого – ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но у двух глаз, дражайшая госпожа советница, безразлично, дальше или ближе они посажены, *один* только *взор*. И вот тут я и хотел бы спросить: что это, собственно, за взор, в котором исчезает разлад между столь разными глазами? Сейчас отвечу вам и себе. Это взгляд искусства, абсолютного искусства, одновременно являющегося абсолютной любовью и абсолютным уничтожением или равнодушием и означающий то страшное приближение к божественно-дьявольскому, которое мы зовем «величием». Вот вам и ответ. Покуда я говорил, мне стало казаться, что именно это я и хотел сказать вам с того самого момента, как узнал от парикмахера о вашем приезде, ибо мне думалось, что это будет вам интересно, хотя не в меньшей мере меня сюда привело и

желание облегчить *свою* душу. Вы мне поверьте, что это не пустяки, что несколько тревожно с *таким* сознанием изо дня в день жить перед лицом *такого* феномена, что это приводит к известному перенапряжению сил, покончить с которым, однако, уехать в Росток, где, конечно, ничего подобного тебя не ждет, становится совершенно невозможным... Чтобы лучше разъяснить вам положение вещей, – а мне кажется, что я не напрасно предполагаю в вас интерес к таковому и вы охотно выслушаете меня, – короче, если мне будет дозволено посвятить еще несколько слов этому явлению, то я скажу, что оно уже нередко заставляло меня вспомнить о благословении Иакова в конце Книги Бытия, где говорится, что Иосиф благословен Господом «благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу».

Простите меня, но то, что я заговорил об этом месте из Священного Писания, только кажущееся отступление, на деле я не разбрасываюсь мыслями и весьма далек от того, чтобы потерять нить. Мы говорили о соединении могучих духовных даров с крайней наивностью в единой человеческой конституции и как будто решили, что такое соединение вызывает величайший восторг человечества. Речь идет о двойном благословении, дарованном природой и духом, которое, если вдуматься, является благословением всего человечества, вернее же, его проклятием; ведь человек брэнной стороной своего существа причастен миру природы, другою же – и я бы сказал, решающей – миру духа; это можно было бы выразить в образе несколько комическом, но хорошо передающем суть дела: правой ногой мы стоим в одном мире, левой – в другом, – головоломная позиция, и чувствовать глубоко и живо всю ее затруднительность нас научило христианство. Если человек отдает себе отчет в этой опасной, временами постыдной позиции и, порвав узы природы, стремится к чистому, духовному, он христианин. Христианство – это тоска по бесконечному, – беру на себя смелость думать, что мое определение правильно. Я, кажется, перескакиваю с пятого на десятое? Но не беспокойтесь! Я не забываю не только пятого, но и первого и крепко держу нить. Итак, значит, я возвращаюсь к феномену величия, – великого человека, – в равной мере *великого* и *человека*, поскольку то проклятье благословением, та осознанная человеческая двойственность в нем одновременно и заострена до предела, и снята. Я говорю, снята в том смысле, что о тоске и тому подобных жалостных чувствишках здесь не может быть и речи, – двойное же благословение «небесным свыше и бездной, лежащей долу», знать не знает о печати проклятья и превращается в формулу если не покорной, то непокоряющейся абсолютно благородной гармонии и земного блаженства. В великом человеке доминирует духовное начало, отнюдь не враждебное природному; ибо его духу природа доверяет не меньше, чем самому духу созиданья, да и что удивительного, он сродни последнему и является как бы доверенным, братом природы, которому она охотно поверяет свои тайны; ведь созиданье – дружественно-братский элемент, связующий воедино дух и природу. Вы же понимаете, что этот феномен великого духа, любимец и доверенный природы, этот феномен нехристианской гармонии и людского величия приковывает к себе не на девять, не на тринадцать лет, но на целую вечность, и что никакое самолюбие, если потворство таковому равносильно отказу от общения с ним, не может самоутверждаться, вопреки ему. Я говорил о горькой и сладостной чести и, помнится, обосновал это различие. Но мыслима ли честь более сладостная, нежели любовное служение феномену, счастье жить возле него, ежедневно впивать его, пригвождаясь первым же глотком. Вы спросили, *хорошо* ли себя чувствуешь подле него? Я смутно вспоминаю, что уже говорил о необычной благодати, распространяемой его присутствием, и еще о том, что она не чужда известной насильственности и стеснения, так что иногда трудно становится усидеть на стуле и невольно порываешься бежать... Теперь я точно вспоминаю, мы заговорили об этом в связи с его терпимостью, его склонностью к попустительству, его покладистостью, – кажется, у меня вырвалось именно это выражение, по существу совершенно неправильное, ибо оно заставляет думать о мягкосердечии, христианстве и тому подобном, а это было бы нелепо прежде всего потому, что покладистость сама по себе не является феноменом, но, в свою очередь, стоит в прямой зависимо-

сти от единства *всего* и *ничего*, от всеобъемлющего и nihil, от Бога и дьявола. Фактически она порождена безразличием, а потому не имеет ничего общего с мягкосердечием и скорее проявляется в своеобразной холодности, в уничтожающем равнодушии, индифферентизме абсолютного искусства, которое – мы уже говорили об этом, уважаемая, – само себе сторона и, как гласит стишок, «я сделал ставку на ничто», короче говоря – на всеобъемлющую иронию. Как-то раз в экипаже он сказал мне: «Ирония – это та крупца соли, которая и делает кушанье съедобным». Я не только открыл рот от удивления, у меня от этих слов мороз пробежал по коже, ибо вы видите перед собой человека, не похожего на того неустрашимого дурачка из народной сказки, пустившегося на поиски страха. Меня легко бросает в дрожь, а здесь к тому имелся достаточный повод. Вдумайтесь, что это значит: без примеси иронии, *id est*²¹ нигилизма, все становится несъедобным. Это – нигилизм как таковой, это – разгром вдохновения, если не говорить о вдохновении абсолютным искусством – поскольку к последнему вообще приложимо слово вдохновение. Я никогда не мог позабыть эти слова, хотя уже давно сделал открытие, – довольно неприятное, – что сказанное им легко забывается. Да, легко забывается! Отчасти это, вероятно, происходит оттого, что его любишь, слишком жадно вливаешь в себя его голос, взгляд, выражение лица, с которым он произносит те или иные слова, так что на сказанное уже не хватает внимания, вернее, от сказанного мало что остается, если отнять этот взгляд, голос, жест, неотъемлемые от самой сути: а суть у него больше, чем у кого бы то ни было, связана с личностью; я бы даже сказал, что этой-то связью и определяется его правда настолько, что без поддержки и придатка личного она уже перестает быть правдой. Пусть так, тут нечего возразить! И все же одним этим не объяснишь, почему столь легко забываются его слова. Должна быть еще какая-то причина, в них самих заложенная. И мне думается, что эта причина – противоречивость, частенько неуловимая двусмысленность, видимо составляющая суть и природы, и абсолютного искусства, но, несомненно, наносящая ущерб их прочности и приемлемости. Приемлемо и пригодно для бедного человеческого разума только нравственное. Не нравственное, но стихийное, нейтральное, короче: злостно-дразнящее, то, что может быть названо эльфическим – давайте примем этот термин, – то, что идет от мира всепризнания и уничтожающей терпимости, мира без причин и цели, где зло и добро уравнены в своем ироническом праве, – человек не приемлет, ибо это не внушает ему доверия, за исключением того безграничного доверия, которое эльфическое все же ему внушает, а это значит, что к противоречивому человек может и относиться только противоречиво. Ибо, дражайшая госпожа советница, это беспредельное доверие вызывается беспредельным же добродушием, свойственным эльфическому существу и ему все же противостоящим настолько, что оно вопрошает: «Людские нужды – кто поймет?» – и само же дает ответ: «Святой глагол к благим делам вызывает, об этом знает смертный человек и песням издавна внимает». Так, в силу одного только добродушия, всеобъемлющая ирония и природно-эльфическое начало все же становятся нравственными, зато, будем говорить откровенно, бесконечное доверие, с которым к нему относятся, нисколько не нравственно, – иначе оно не было бы столь бесконечно. Оно, в свою очередь, стихийно, биологично и всеобъемлюще. Это аморальное, но целиком завладевающее людьми доверие к благодушию великого человека, которое делает его прирожденным исповедником. Ему все ведомо и все открыто, ему все хочешь и можешь сказать, ибо чувствуешь, как охотно он постарается для людей, скрасит им мир, научит жизни – не из уважения к ним, но именно из любви или, правильнее будет сказать, из симпатии. Предпочтемте это выражение, характеризующее и объясняющее ту необыкновенную благодать, которой проникаешься вблизи него, – я снова возвращаюсь к ней, ибо мне так и не удалось в досталь о ней наговориться, – слово «симпатия», мне кажется, лучше подходит здесь, нежели то, более патетическое слово. Да и благодать эта не патетическая, я хотел сказать, не духовная, но скорее, – видите, как меня затрудняет

²¹ То есть (лат.).

подбор слов, – деятельная, чувственная, хотя она и несет в себе свое противоречие, а именно крайнее стеснение и тревогу, и если я говорил о стуле, на котором не можешь усидеть от панического желания бежать, то ведь это, несомненно, связано с не духовной, не патетической, не нравственной сущностью этого благостного чувства. Прежде всего необходимо предпослать, что такое стеснение не непосредственно, оно исходит не от нас, а из той же сферы, откуда на нас веет благодатью, которой оно сопричастно, а именно из тождества этого *всего* и *ничего*, из сферы абсолютного искусства и всеобъемлющей иронии. А что счастье там не обитает, это, моя дорогая советница, я знаю так твердо, что временами у меня сердце готово разорваться. Ну можно ли Протея, который принимает любые формы и обличья, – всегда, правда, оставаясь Протеем, но вечно иным и продолжающим «ставить на ничто», – можно ли, позвольте спросить, считать его счастливым существом? Он Бог или нечто вроде Бога, а божественное мы чуем тотчас же. Древние говорили, что божественное узнается по особому благоуханию. По этому-то озону богов, вдыхаемому нами, и мы узнаем о близости Бога и божественного. О, это неописуемо приятное ощущение! Но, говоря «Бог», мы уже произносим нечто нехристианское. Да, христианства здесь нет ни на грош, это достоверно, – нет веры в благодать мира и нет желанья бороться за эту благодать, я бы сказал: нет души и воодушевления, ибо воодушевление даришь идеальному, а дух, ставший самой природой, весьма низко ценит идеи: это дух неверующий, дух без души, душевность проявляется у него разве что в симпатии, в известном чувственном предпочтении, вообще же его удел – всеобъемлющий скепсис, скепсис Протея. Чудно приятное ощущение, испытываемое нами, все же не может внушить нам веры в то, что здесь обитает счастье. Ибо счастье, если я не окончательно заблуждаюсь, лишь там, где вера и воодушевление, более того, пристрастность, а пристрастности не ужиться с эльфической иронией и уничтожающим безразличием. Божественный озон, о да! Им никогда вдосталь не надышишься! Но нельзя девять лет и потом еще четыре года радоваться этим флюидам и ничего не увидеть, не столкнуться с множеством явлений, – явлений, которые, вероятно, объясняешь правильно, только расценивая их как страшные доказательства того, что я сказал о счастье: угрюмость, недовольство, безнадежный уход в молчание, – общество постоянно этого опасается, – не со стороны хозяина дома, в качестве хозяина он себе такого не позволит, но гостя, который впадает в угрюмое молчание и, тоскливо закусив губы, бродит из угла в угол. Попробуйте себе представить этот мрак и подавленность! Все молчит, ибо кто станет говорить, когда *он* не раскрывает рта? Гости разбредаются по домам, смущенно перешептываясь: «*Он* был не в духе». К сожалению, это случается довольно часто. И тогда какой же холод и чопорность, какая броня церемонности прикрывают его непонятную застенчивость, на редкость быструю утомляемость, усталость, замкнутый круг существования: Веймар – Иена – Карлсбад – Иена – Веймар, все возрастающее стремление к одиночеству, к окостенению, к тиранической нетерпимости, к педантизму, к странностям, к манерности мага... Моя милая, моя дорогая и уважаемая госпожа советница, это не только преклонные лета! В преклонных летах не обязательно быть таким. В этих проявлениях я научился видеть тихие, страшные признаки законченного неверия и эльфической всеиронии, которая подменяет воодушевление пунктуальностью, хлопотливой деятельностью, сверхъестественной упорядоченностью. Людей она не уважает: люди – это животные, не способные совершенствоваться. В идеи она не верит: свобода, родина – это лишено естества, это пустышки. Но ведь она зерно абсолютного искусства, – так верит ли она хотя бы в него? Нисколько, уважаемая! По сути, она относится к нему едва ли не свысока. «Стихи, – услышал я однажды от него, – в сущности, ничто. Стихи – это, как вам сказать, поцелуй, который даришь миру. Но от поцелуя дети не рождаются». К этому он ничего не пожелал присовокупить... Если я не ошибаюсь, вы хотели что-то сказать?

Рука, которую он простер к Шарлотте, как бы предоставляя ей слово, непозволительно дрожала, такая дрожь уже внушала тревогу. Но он, казалось, этого не замечал, и хотя Шарлотта настойчиво желала, чтобы она наконец опустилась, он долго держал в воздухе эту руку с колеб-

лющимися как от землетрясения вихляющимися пальцами, Ример, по-видимому, изнемог, да и не удивительно. Нельзя, не переводя дыхания, так долго, с такой напряженной стройностью речи говорить о вещах, столь близко принимаемых к сердцу, и не выдохнуться, не выказать симптомов, которые Шарлотта с волнением и неудовольствием подметила в нем: он побледнел, пот выступил у него на лбу, воловьи глаза невидящим взором уставились в пространство, открытому рту со всегда брюзгливой черточкой сообщилось выражение трагической маски; он дышал тяжело, прерывисто и слышно.

Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшегося – хотя бы в приступе кашля – мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на собственную взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, надо думать, относившимся к шутливым словам о поцелуе. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Ример принял за желание говорить, – и небезосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум:

– Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает поэзии. Напротив, это очень милое сравнение: оно воздаст ей должное и самым почтенным образом противопоставляет ее жизни и действительности... Хотите знать, – спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто способное отвлечь разволновавшегося доктора и навести его на другие мысли, – хотите знать, скольким детям я подарила жизнь? Одиннадцати, считая тех двух, которых Господь снова взял к себе. Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья и любят хвалиться ниспосланным на них благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу – я что-то запаматовала ее имя – ах да, Ниобею, – ведь это она так жестоко поплатилась за свою материнскую гордость?.. Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. В Немецком орденом доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось бы шестнадцать детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность, и я как сейчас помню неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гете, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра, мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью видеть весь свой домашний быт так обстоятельно воспроизведенным в романе, и в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды...

– Как раз об этом, – Ример, уже начинавший успокаиваться, воспользовался возможностью прервать ее, – об этих чувствах я и хотел спросить вас.

– Я заговорила о них между прочим, – продолжала Шарлотта, – сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться. Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают о прежних страданиях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся. Он близко принял его к сердцу, – «не налипло, а вплетено в ткань», – писал он, – вопреки вам и всем остальным!» Ну хорошо, пусть вплетено. Нам от этого было не легче. Он также уверял Кестнера, что Кестнер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей этому поверить? Что я не Лотта, этого он не утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою руку и передать мне: «Сознание, что твое имя произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек». И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого начала думала не столько о себе, сколько о своем уязвленном муже, и потом всем сердцем радовалась удовлетворению, которое, в награду за его прекрасные качества, принесла ему жизнь, радовалась тому, что он стал отцом моих детей, – впрочем, и тот, другой, всегда

относился к ним с сердечным участием, в этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех, ибо они так же близки ему, как и мы. Мы и правда попросили его в крестные к нашему первенцу в семьдесят четвертом году, хотя нам очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал; и мы потихоньку дали ему имя Георг. Но в восемьдесят третьем году Кестнер послал ему силуэты всех бывших у нас к тому времени детей, и очень его этим порадовал. Всего шесть лет назад он помог моему сыну Теодору, врачу, женатому на уроженке Франкфурта, девице Липперт, получить там права гражданства и профессуру в медико-хирургической академии. Да, в этом случае он пустил в ход все свое влияние; и когда в прошлом году Теодор вместе с братом Августом, легационным советником, навестил его в Гербермюле, у доктора Виллемера, он очень дружелюбно принял обоих, осведомился о моем житье-бытье и даже сказал, что знает их всех по силуэтам, присланным ему их покойным отцом, когда они еще были озорными мальчишками. Августу и Теодору пришлось дать мне подробный отчет об этом визите. Говоря о силуэтах, он выразил сожаление, что этот некогда столь принятый способ оставлять память о себе совершенно вышел из моды. Он был очень обязателен, рассказывали они, и только как-то непокоен во время беседы в саду, где собралось небольшое общество. Он ходил взад-вперед по лужайке, заложив одну руку в карман, другую за борт сюртука, и когда останавливался, то казалось, не очень твердо стоял на ногах и всякий раз прислонялся к дереву.

– Ну, это вполне понятно, – произнес Ример, – он был не в духе. А сентенция по поводу силуэтов ровно ничего не значит и сказана, лишь бы что-нибудь сказать. Но не будем к нему строги.

– Право, не знаю, мой милый господин доктор, в свое время он имел случай оценить всю прелесть искусства ножниц. Как мог бы он иначе составить себе представление о моих детях? Ведь, несмотря на свою к ним приверженность, он никогда не нашел или не искал случая узнать их и вновь свидеться со своим старым Кестнером. Тут силуэты оченьгодились. Вам, наверное, известно, что в Вецларе у Гете был также и мой силуэт (как бы я хотела знать, хранится ли он еще у него!) и какую неистовую бурную радость выказал он, получив его в подарок от Кестнера. Возможно, что отсюда и идет его пристрастие к этому виду искусства.

– О, конечно! Не могу вам сказать с уверенностью, находится ли эта реликвия среди прочих. Но это весьма важно, и я обещаю вам как-нибудь, в благоприятную минуту, разузнать у него о ее судьбе.

– Я предпочла бы спросить его сама. Как бы там ни было, но я знаю, что некогда он просто поклонялся этой бедной тени. «Тысячи, тысячи поцелуев запечатлел я на нем, тысячи приветов слал ему, уходя или возвращаясь домой». Так у него написано. По Вертеру, портрет был мне возвращен, но ведь он, слава Господу и всем нам на благо, не застрелился, а следовательно, еще владеет им, если только время не испепелило силуэта. Да, кроме того, он и не мог вернуть его мне, ибо получил его не от меня, а от Кестнера. Но скажите, господин доктор, не кажется ли вам, что бурная радость, выказанная им по поводу этого подарка, который он получил даже не от меня, а от моего жениха, то есть от нас обоих, и его необыкновенная к нему приверженность свидетельствуют об удивительной готовности довольствоваться малым?

– Это поэтическое довольствование малым, – заметил Ример, – то, что для других – нищета, для поэта – величайшее богатство.

– Видимо, это же заставило его довольствоваться силуэтами детей, вместо того чтобы свести с ними настоящее знакомство и завернуть к нам во время одного из путешествий; если бы Август и Теодор не взяли на себя инициативы и не решились посетить его в Гербермюле, он так бы и не увидел ни одного из человечков, которых, по его же собственному признанию, хотел бы всех, без исключения, иметь своими крестниками, ибо они ему были так же близки, как и мы. Его старый Кестнер, мой добрый Ганс-Христиан, отошел в вечность тому уже шестнадцать лет, так и не свидевшись с ним. О моем здоровье он очень учтиво расспрашивал мальчиков, но

никогда, за всю нашу долгую жизнь, не сделал ни малейшей попытки узнать о нем от меня... И если бы теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, – от чего мне, может быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более как à propos...²²

– Дражайшая госпожа советница, – доктор Ример ближе придвинулся к Шарлотте, не поднимая на нее глаз, точнее, опустив веки, и его лицо как бы застыло в чаянии того, что он собирался сказать и для чего понизил голос: – Дражайшая госпожа советница, я умею уважать ваше à propos, мне понятна чувствительность, даже легкая горечь, сквозящая в ваших словах, скорбное удивление перед такой нехваткой инициативы, не очень естественной и, пожалуй, не подобающей человеческому сердцу. Прошу вас, не удивляйтесь моим словам. Поверьте мне, там, где есть столько причин восхищаться, не может не быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил вас, некогда столь близкую его сердцу и внушившую ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам природы придавать еще большее значение, нежели узам приязни и благодарности, то обнаружатся факты, очевидная необычность которых послужит вам утешением в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная угрюмость наличествует там, трудно определимое душевное торможение, нечто противообычное и оскорбительное. Как относился он в продолжение всей своей жизни к кровным родственникам? Да никак. Отзывался о них с принятой учтивостью и преступно пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы его родители, сестра, какая-то робость, осуждать которую мы не вправе, мешала ему навещать их, даже писать им. О существовании единственного оставшегося в живых ребенка этой сестры, злополучной Корнелии, он ни разу в жизни не вспомнил и так и не знает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании, хотя бы самом минимальном, к франкфуртским дядьям, теткам и всем остальным родичам. Мадам Мельбер, престарелая сестра его покойной матери, живет там со своим сыном, – он не имеет с ними никакой связи, если не считать маленького капитала, который они ему должны как наследнику покойной советницы. А сама мать, эта мамочка, подарившая ему, как он декларировал, «веселый нрав и страсть к повествованию»? – Доктор Ример склонился еще ниже, по-прежнему не подымая глаз. – Уважаемая, когда восемь лет назад она отошла в вечность (он тогда как раз возвратился после долгого и живительного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом), они не виделись ровным счетом одиннадцать лет. Одиннадцать лет! – нелегко выговорить эту цифру. Человеку тут остается лишь развести руками. Он был убит, потрясен до глубины души, мы все это видели, и знали, и от всего сердца радовались, когда Эрфурт и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного состояния. Но за одиннадцать лет ему ни разу не пришло в голову – или он не удосужился? – заехать в родной город, в родительский дом. О, конечно, тут сыщутся уважительные причины: болезни, войны, необходимые поездки на курорт. О последних я упомянул для очистки совести, но боюсь, что невпопад, ибо во время этих поездок как раз и можно было, сделав небольшой крюк, завернуть в отчий дом! Но он пренебрег этим! Не спрашивайте меня почему! Помнится, на уроке закона Божия учитель тщетно силился растолковать нам, мальчикам, слова Спасителя, обращенные к его матери: «Женщина, что мне до тебя». Все это не так надо понимать, заверял он нас, и это непочтительное обращение и последующее, где Сын Божий подчиняет то, что для всех нас священо, своему высшему искупительному призванию. Но законоучитель напрасно старался примирить нас с этим изречением! Оно казалось нам столь мало назидательным, что никто не решался вслух произнести его. Простите мне это отступление! Сентенция, о которой я говорил, часто приходила мне на ум в этой связи и теперь тоже невольно примешалась к моим усилиям примирить вас с этой его странностью и объяснить столь непостижимое отсутствие инициативы. Когда ранней осенью четырнадцатого года, во время своего путешествия по Рейну и Майну, он снова посетил Франкфурт, родной город не видел его в своих стенах ровно

²² Между прочим (*фр.*).

семнадцать лет. Что это? Какая робость, какая необоримая застенчивость или злопамятная стыдливость определили чувства гения к городу, где он возник, к стенам, которые видели его в эмбриональном состоянии и которые он перерос, чтобы выйти на всемирный простор! Что он, стыдится их или совестится перед ними? Нам остается только спрашивать и предполагать. Правда, ни город, ни его достойная мать ничуть этим не были задеты. Франкфуртский «Почтовый вестник» посвятил его пребыванию статью (я сохранил ее); что же касается матери, уважаемая, то ее преклонение перед гением сына всегда было равновелико ее гордости тем, что она произвела на свет такое чудо, и ее бесконечной любви к нему. Он хоть и оставался вдали, но посылал ей, по мере выхода в свет, каждый том полного собрания своих сочинений, и с первым из них – стихотворным – она никогда не расставалась. Восемь томов успела она получить до своей смерти и велела переплести их в тисненую кожу...

– Мой милый господин доктор, – перебила его Шарлотта, – право же, вы напрасно превозносите передо мной необидчивость родного города и материнское всепрощение. Насколько я понимаю, вы хотите поставить мне их в пример, но я в этом не нуждаюсь! Мои скромные выводы я сделала с полным спокойствием, не без сознания курьезности его поступков, но и без горечи. Вы же видите, что я следую примеру пророка и иду к горе, раз гора не захотела пойти ко мне. *Обидчивый* пророк этого бы не сделал. Не надо также забывать, что пророк идет к горе лишь по оказии, вернее, просто не собирается ее обходить, ибо это уже смахивало бы на обиду. Надеюсь, вы меня правильно понимаете: я вовсе не хочу сказать, что мне так уж по душе материнское смирение нашей дорогой, с миром почившей госпожи советницы. Я сама мать, я произвела на свет нескольких сыновей, и они выросли почтенными, деятельными людьми. Но если бы хоть один из них повел себя подобно сынку имперской советницы и в продолжение одиннадцати лет не пожелал бы заглянуть ко мне и только знай катал бы мимо моего города – на курорт и обратно, – я научила бы его благоприличиям и, верьте мне, господин доктор, задала бы ему хорошую головомойку.

Гневно-веселое настроение, казалось, овладело Шарлоттой. Произнося эти запальчивые слова, она постукивала зонтиком, ее лоб под пепельно-серыми кудряшками покраснел, губы искривились не совсем так, как кривятся для улыбки, а в голубых глазах стояли слезы задора или какие-то другие слезы. Они блеснули на ее ресницах, когда она продолжала:

– Нет, скажу откровенно, такое материнское всепрощение мне не по нраву; даже как оборотную сторону великих достоинств я бы не признала эту сыновнюю «непритязательность». Уж я бы примчалась – пророчица к горе – и заставила бы его призадуматься. Вы этому поверите, раз я и теперь приехала посмотреть, что с этой горой происходит, – не потому, что я имею какие-нибудь права на него, Боже упаси, я не мать ему, и он может проявлять свою «непритязательность» по отношению ко мне, сколько его душе угодно, – хотя, не стану отрицать, есть старый непогашенный счет между мною и им, и, может быть, это он и привел меня сюда, давнишний, непогашенный, мучительный счет...

Ример со вниманием следил за Шарлоттой, слово «мучительный», выговоренное ею, было первым словом, соответствовавшим выражению ее рта, слезам на ее глазах. Мужчина и тяжелодум, он дивился и восхищался: на что только не способны эти женщины и как они хитрят, даже в чувстве. Она заранее позаботилась о тексте, сообщающем иной смысл выражению муки, – вероятно, пожизненной муки, – слезам и искривившемуся рту, так ложно интерпретировавшим ее, что казалось, будто все это вызвано ее гневно-веселой тирадой и стояло с нею в прямой связи задолго до того, как вырвалось это изобличающее слово, дабы никто не мог, не осмелился его связать с той давней мукой и, напротив, воспринял в свете ранее сказанных слов, которыми она заблаговременно обеспечила себе право на внезапные слезы. Изощренные создания, думал Ример, невероятно искусные в притворстве, владеющие даром нераздельно смешивать лукавство и искренность, рожденные для света и любовных интриг. Мы, мужчины, – пентюхи, неповоротливые медведи в сравнении с ними. Мне удалось загля-

нуть ей в карты и постичь ее уловки только потому, что и я испытал мучения, столь схожие с ее мучениями, потому что мы соучастники, соучастники в муке... Он поостерегся прервать ее и выжидательно смотрел своими широко расставленными глазами на ее искривившиеся губы. Она снова заговорила:

– Сорок четыре года, мой милый господин доктор, прибавившиеся к моим тогдашним девятнадцати, для меня оставались загадкой, мучительной загадкой – зачем мне таиться от вас? – эта «непритязательность», это довольствование силуэтами, довольствование поэзией, поцелуем, от которого, как он сам говорит, дети не рождаются. Но они родились, одиннадцать человек, если считать двух умерших, родились из любви моего Кестнера, преданной честной любви. Вдумайтесь хорошенько, попробуйте себе это представить, и вы поймете, почему я за долгую жизнь так и не справилась со своими сомнениями. Не знаю, известны ли вам все тогдашние обстоятельства? Когда началась судейская ревизия, Кестнер приехал из Ганновера к нам, в Вецлар, в качестве личного секретаря Фалька – Фальк, как вы, наверно, помните, был посланником герцога Бременского. Все это со временем получит историческое значение, и – не будем скромничать – каждый, именующий себя просвещенным человеком, обязан будет знать все эти подробности. Итак: Кестнер, спокойный, благонравный, положительный молодой человек, приехал в наш город в качестве секретаря бременской миссии. Я, пятнадцатилетнее создание – ведь мне тогда минуло всего пятнадцать, – тотчас же прониклась к нему глубоким доверием. Он же, поскольку ему позволяла постоянная занятость, начал бывать в Немецком доме, стал как бы членом нашего многочисленного семейства, за год перед тем потерявшего милую, любимую и незабвенную мать. О ней теперь весь мир знает из «Вертера». Наш отец, амтман, остался вдовцом с целой кучей детей, и я, его вторая дочь, сама еще почти ребенок, изо всех сил старалась заменить покойную мать в воспитании детей и домоводстве; как умела, чистила носы малышам, кормила их и силилась покрепче держать бразды правления в своих руках, ибо Лина, наша старшая, не проявляла ко всему этому ни охоты, ни склонности. Позднее, в семьдесят шестом году, она вышла замуж за надворного советника Дица и родила ему пятерых бравых сыновей. Старший из них, Фрицхен, в свою очередь, сделался надворным советником при архиве имперского верховного суда, – все это станет важным со временем, когда, в целях просвещения, начнут докапываться и до этих сведений, а потому я уже теперь стараюсь покрепче держать их в памяти. Кроме того, я только хочу сказать вам, что Каролина, наша старшая, впоследствии тоже стала превосходной женой и матерью – надо позаботиться о том, чтобы история и ей воздала должное. Но тогда домовитостью отличалась я, а не она; так, по крайней мере, утверждали все, хотя я в ту пору была еще довольно тщедушным созданием, белокурым и голубоглазым. Лишь в последующие четыре года я несколько выровнялась как женщина – в угоду Кестнеру и из любви к нему. Так мне, по крайней мере, казалось, – он ведь давно уже заглядывался на мою материнскую домовитость, и, что греха таить, заглядывался влюбленными глазами. А так как он всегда и во всем знал, чего хочет, то и здесь он едва ли не с первого дня знал, что хочет иметь меня, Лотхен, супругой и хозяйкой в своем доме, когда служебное и материальное положение позволят ему посвататься ко мне. Последнее было условием, которое поставил наш добрый отец, обещавший дать свое благословение не раньше, чем Кестнер добьется известных жизненных благ и сможет прокормить семью. К тому же я в свои пятнадцать лет была еще совсем неоперившимся цыпленком. Но тем не менее это была помолвка, нерушимый, молчаливый обет, данный обеими сторонами. Мой добрый Кестнер хотел во что бы то ни стало добиться меня из-за моей домовитости, а я желала его всем сердцем, потому что он так сильно желал меня, и из доверия к его достойному характеру, – короче говоря, мы были помолвлены. Мы навек полагали свою жизнь друг в друге, и если я в последующие четыре года несколько развилась физически и приобрела, так сказать, женский облик, кстати, довольно приятный, то это, конечно, сделалось бы и само собой; просто для меня пришла пора из подростка стать женщиной или, выражаясь поэтически, расцвести.

Конечно, это так, но в моем представлении все выглядело иначе, все совершалось по определенному умыслу, из любви к нему, преданному и желавшему меня, в его честь, дабы ко времени, когда он станет достаточно представителем для звания жениха, и мне, со своей стороны, быть достаточно представительной в качестве невесты и будущей матери... Не знаю, понятно ли вам, почему мне кажется важным подчеркнуть, что, по моему тогдашнему убеждению, я исключительно для него, доброго, преданного, стала хорошенькой девушкой или по крайней мере авантажной...

– Думается, я понимаю, – отвечал Ример, потупившись.

– И вот в ту самую пору появился третий, друг, милый соучастник. Он пришел извне, впорхнул в мир этих отношений и заботливо уготовляемой жизни, как мотылек или пестрая летняя птица. Не удивляйтесь, что я называю его мотыльком – он, конечно, был не очень легким юношей, то есть легким-то, пожалуй, и был: немного сумасбродный, суетный в манере одеваться, немного ветрогон, любивший щегольнуть силой и проворством. Душа общества, он изобретал самые веселые игры, и лучшие из наших танцорок всегда с радостью протягивали ему руку; все это так, хотя задорная веселость и нарядное оперенье не всегда были ему к лицу, ибо для этого он все-таки был слишком тяжел, слишком полон духа и мысли, – но ведь как раз тяга к глубоким размышлениям, гордость великими мыслями и служили у него связующим звеном между серьезностью и легкомыслием, между грустью и самодовольством. В общем же он был очарователен; в этом нельзя не признаться: такой открытый и добросердечный, в любую минуту готовый честно искупить свою провинность. Кестнер и я, мы одинаково сдружились с ним, все трое объединились в сердечной дружбе, ибо он, явившийся извне, пришел в восторг от отношений, существовавших между нами, с радостью воспринял их и к ним присоединился как друг и третий. У него на это хватало досуга, ибо, хорош или плох был имперский суд, но он не проявлял к нему интереса и ровно ничего не делал, в то время как мой, желая выдвинуться, – опять же ради меня, – дневал и ночевал в канцелярии посланника. Я еще поныне убеждена и готова поручиться перед будущими исследователями, что он и от этого был в восторге – я имею в виду трудолюбие и занятость Кестнера – не потому, что это ему позволяло быть наедине со мною, нет, он не был неверным другом, никто не посмеет этого сказать. К тому же поначалу он вовсе не был в меня влюблен, не поймите меня превратно, а был влюблен в нашу предназначенность друг для друга, в наше терпеливое счастье. В моем добром Кестнере он видел братскую душу и о неверности ему не помышлял. Он дружески положил руку на его плечо, чтобы в единении с ним любить меня, получая свою долю в наших продуманно-спокойных отношениях. И вот тут-то и случилось, что он позабыл о руке, покоившейся на плече Кестнера, хотя и не отнял ее, и его взор, обращенный на меня, принял другое выражение. Доктор, представьте себе мое состояние: все долгие годы вынашивая и растя детей, я день и ночь вспоминала об этом, без устали думала и думаю по нынешний день! Боже милостивый, я все заметила, я была бы не женщина, если б не заметила, что его взор мало-помалу пришел в разлад с его верностью и что он влюблен уже не в нашу помолвленность, но в меня, то есть в то, что принадлежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я превратилась за эти четыре года ради него, желавшего меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих детей. Однажды тот, третий, дал мне прочесть нечто, выдавшее, *намеренно* выдавшее мне, как обстоит дело и что он ко мне чувствует – невзирая на руку, все еще покоившуюся на Кестнеровом плече, – нечто, отданное им в печать; ведь он писал и сочинял непрестанно и уже в Вецлар приехал с рукописью драмы о Геце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой, почему его приятели из трактира «Кронпринц», читавшие эту драму, и дали ему прозвище «Гец прямодушный». Он писал также рецензии и тому подобное. Заметка, о которой я говорю, была напечатана во «Франкфуртском ученом вестнике». В ней разбирались стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то польским евреем. Правда, о евреях и его стихах там говорилось немного. Словно не в силах сдерживаться, он быстро переходил к рассказу о юноше и девушке, встреченной

им среди мирной сельской природы. И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдливость и скромность, не могла не узнать себя; так густо был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня, на мирный семейный круг домашней деятельной любви, где расцветала эта девушка во всей своей душевной и телесной прелести, душа столь любвеобильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца (я почти дословно цитирую его), поэты и мудрецы охотно шли к ней в ученье, с восторгом созерцая врожденную добродетель в союзе с врожденной прелестью. Короче говоря, конца не было намекам, надо было быть уже совсем Богом ушибленной, чтобы не заметить, к чему он клонит, – тут никакая стыдливость и скромность не могли помешать проникновению в истину. В трепет и отчаяние меня повергло то, что юноша предложил девушке свое сердце, столь же молодое и пылкое, сердце, созданное, чтобы вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству этого мира (так он выражался) и в оживляющем содружестве (как было мне не узнать «оживляющего содружества») питать золотые надежды на вечную близость (я цитирую дословно) и вечно подвижную любовь.

– Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы же делаете важнейшее открытие, – прервал ее Ример. – Вы сообщаете сведения, в ценности которых едва ли отдасте себе отчет. Об этой рецензии ничего не известно. Я слушаю и ушам не верю. Ясно, что старик... ясно, что он утаил от меня этот документ. Возможно, впрочем, что он забыл...

– Этому я не верю, – перебила Шарлотта. – Такое не забывается. «Вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству», – об этом он, конечно, помнит так же, как и я.

– Очевидно, – горячился Ример, – этот документ связан с Вертером и чувствами, легшими в его основу. Уважаемая, это дело огромной важности! Сохранился ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступным филологам...

– Я почту за честь послужить науке таким указанием, – отвечала Шарлотта, – хотя должна заметить, что мне вряд ли необходимо обращать на себя внимание единичными заслугами.

– Вы совершенно правы.

– Приходится разочаровать вас, у меня нет этой рецензии, – продолжала она. – В свое время он дал мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я прочитала ее при нем, на что я бы никогда не согласилась, если б хоть на мгновение заподозрила, в сколь тяжкий конфликт здесь вступят моя скромность и проницательность. Так как я отдала ему рецензию, не взглянув на него, то не могу вам даже сказать, какую мину он соорудил. «Вам понравилось?» – спросил он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком доволен», – холодно отвечала я. «Ну, а вы, Лоттен, – настаивал он, – вы довольны?» – «Я не утратила душевного равновесия». – «О, если б я мог то же сказать о себе!» – воскликнул он, словно недостаточно было одной рецензии и понадобилось еще это восклицание, чтобы сказать мне, что рука, покоившаяся на плече Кестнера, забыта и вся жизнь теперь сосредоточена в глазах, которыми он смотрит на то, что принадлежало Кестнеру, на то, что для него одного, под теплым, пробуждающим взглядом его любви, распустилось во мне. Да, все, чем я была, и все, что было во мне, все, что я могу теперь назвать моей девятнадцатилетней прелестью, принадлежало моему милому, было посвящено нашим честным житейским намерениям и цвело не для «таинственного блаженства», не для какой-то «вечно подвижной любви», отнюдь нет. Но вы, доктор, поймете, да и все люди, я надеюсь, поймут, что девушка радуется и веселится, когда не только один видит ее весеннее цветение, не только тот, кому оно посвящено и кем, я бы сказала, оно вызвано, но когда на это цветение раскрываются глаза и у другого, третьего, ибо это ведь подтверждает нашу прелесть и для нас и для того, кому суждено владеть ею. И как же я радовалась, видя, что и мой добрый Кестнер радуется моим успехам у других и прежде всего у его необыкновенного, гениального друга, которым он восхищался, в которого верил так же, как в меня, или, нет, пожалуй, несколько иначе, несколько менее почетной верой. В меня он ведь верил потому, что не сомневался в моем благоразумии и был убежден, что я знаю, чего хочу; в него же верил именно потому, что тот понятия не имел, чего он хочет, и любил смятенно и бесцельно, как поэт. Вот, доктор,

видите, как все было! Кестнер в меня верил, так как принимал меня всерьез; в того же верил, так как его всерьез не принимал, хотя и бесконечно восхищался его блеском и гением, хотя и сочувствовал страданиям, уготованным ему его бесцельной любовью поэта. Я тоже жалела его за то, что он так страдал из-за меня, за то, что из дружбы угодил в такой переплет, но ко всему мне было еще и обидно за него, за то, что Кестнер не принимал его всерьез и верил в него какой-то непочетной верой, а потому меня часто мучила совесть: мне казалось, что я обкрадываю моего милого, объединяясь с другом в обиде на такого рода доверие. Но, с другой стороны, это доверие успокаивало меня, позволяло мне смотреть сквозь пальцы и чет считать за нечет, видя, как подозрительно перерождается добрая дружба третьего и как он забывает о руке, положенной на плечо моего милого. Понимаете ли вы, господин доктор, что это чувство обиды было уже признаком моего собственного небрежения долгом и благоразумием и что доверие и невозмутимость Кестнера сделали меня немного легкомысленной?

– Благодаря моему высокому служению, – отвечал Ример, – я привык разбираться в подобных тонкостях и, думается мне, постигаю всю тогдашнюю ситуацию. Я отдаю себе отчет также и в трудностях, выраставших для вас, госпожа советница, из этого положения.

– Благодарю, – отвечала Шарлотта, – и возьму на себя смелость заверить вас, что давность всего происшедшего нисколько не умаляет моей благодарности за это понимание. Ведь время здесь, против обыкновения, играет весьма ничтожную роль. Я берусь утверждать, что, несмотря на эти сорок четыре года, все то давнее сохранило свою свежесть и непосредственность, постоянно наводящую на новые и новые размышления. Да, как ни полны были эти долгие годы радостями и страданиями, но дня не проходило, чтобы я напряженно не раздумывала о тогдашнем; впрочем, его последствия и то, во что оно выросло для всего просвещенного человечества, делают это понятным.

– Вполне понятным!

– Как хорошо вы это сказали, господин доктор, и как вы меня ободрили! До чего же приятно беседовать с человеком, у которого всегда наготове столь добрые слова. Видно, то, что вы называете своим «высоким служением», и вправду во многом отразилось на вас, сообщило и вам качества исповедника, которому можешь и хочешь все открыть, ибо ему все «вполне понятно». Вы придаете мне мужество поведать вам еще кое-что о мучительных размышлениях, на которые наталкивали меня некоторые события, тогдашние и более поздние, размышления о характере и роли того, третьего, явившегося извне, чтобы положить в заботливо свитое гнездо кукушечье яйцо своего чувства. Не пеняйте на меня за такое определение, как «кукушечье яйцо», – вспомните, что вы сами подали мне пример подобных оборотов, смелых или дерзких, называйте их как хотите. Вы говорили об «эльфической» сущности, а эльфичность, на мой слух, звучит ничуть не лучше кукушечьего яйца. К тому же это слово только выражение долголетних непрестанных дум, – правильно ли вы меня понимаете? – я имею в виду: не плод их! В качестве такового оно действительно было бы некрасиво и недостойно, с этим я согласна. Нет, такие определения – это, в известной мере, продолжающиеся думы, не больше. Итак, я говорю и ничего другого не хочу сказать: добропорядочный юноша, несущий к ногам девушки свою любовь и поклонение – поклонение, а следовательно, и домогательства, которые не могут не смущать ее, – тем паче, чем необычнее и блистательнее проявляет себя этот юноша и чем увлекательнее общение с ним, естественно, вызывающее некоторые ответные чувства в ее сердце: такой юноша, я полагаю, должен был бы, если можно так выразиться, самостоятельно избрать свою избранницу, сам обнаружить ее на своем жизненном пути, сам оценить ее достоинства и вывести ее из мрака неузнанности, чтобы отдать ей свое сердце. И вот... почему бы мне и не спросить вас о том, о чем я так часто спрашиваю себя в продолжение этих сорока четырех лет: что сказать о юноше, – пусть общение с ним стократ увлекательно, – которому недостает самостоятельности в любви и избрании и кто предпочитает быть третьим и любить то, что расцвело для другого и благодаря другому? – кто, влюбившись в чужую влюбленность, вторга-

ется в жизнь, созданную другими, и лакомится яствами с чужого стола? Любовь к нареченной другого – вот что заставляло меня ломать голову все эти годы моего замужества и вдовства, любовь, сочетаемая с верной дружбой к жениху, которая – при всех домогательствах, неразлучных с нею, – отнюдь не намеревалась ущемить его права или разве что поцелуем, – любовь, предоставляющая другу все права и обязанности и наперед ограничивающая себя намерением крестить детишек, которые произойдут от брака тех двоих, а если и это не удастся, то довольствоваться представлением о них по силуэтам... Скажите, что же это такое – любовь к чужой невесте и почему эта любовь может стать предметом долголетних, трудных дум? Они привели к тому, что у меня на языке стало неотвязно вертеться одно слово, и я, несмотря на внутреннее сопротивление, так и не смогла от него отделаться. Это слово – прихлебательство...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.